



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

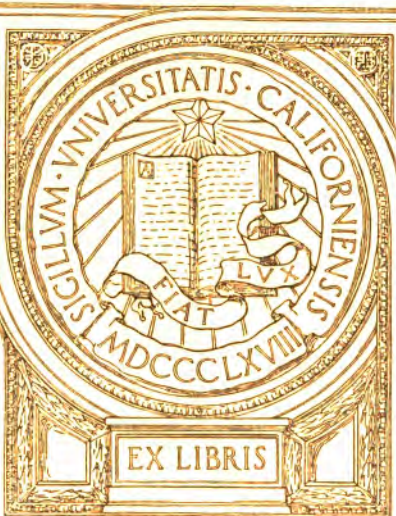
UC-NRLF



\$B 178 290



·FROM·THE·LIBRARY·OF·
·PAUL N·MILIUKOV·



EX LIBRIS



«Въ борьбѣ обрѣтешь ты право свое».

Р. Поливановъ
П. ПОЛИВАНОВЪ.

АЛЕКСѢЕВСКІИ РАВЕЛИНЪ

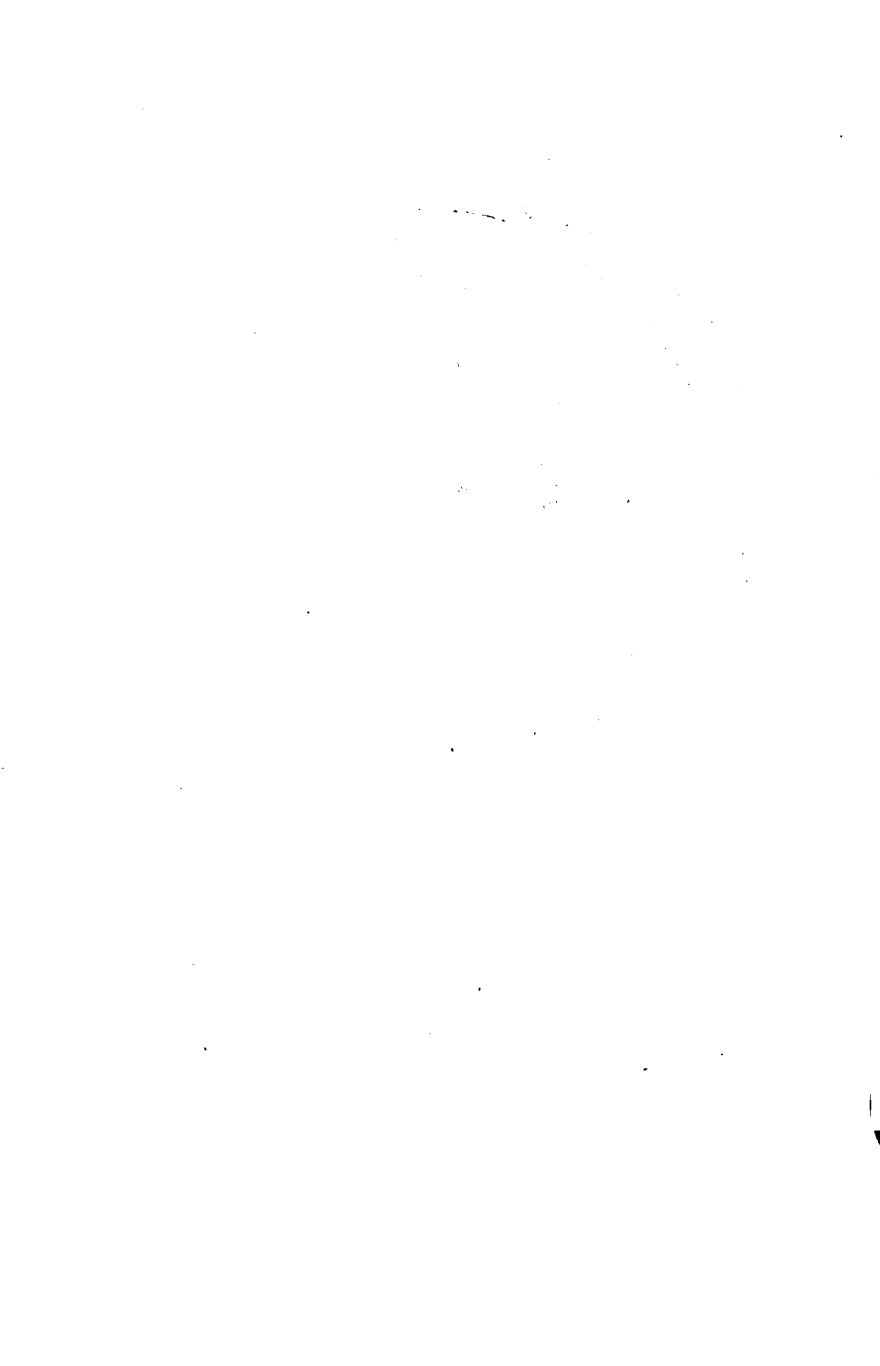
Отрывокъ изъ воспоминаній

Съ портретомъ автора.

„Въ знаніи и борьбѣ — сила и право“

Изданіе
ВЛ. РАСПОПОВА.
1906.







ПЕТРЪ СЕРГѢВИЧЪ ПОЛИВАНОВЪ.

«Въ борьбѣ обрѣтешь ты право свое».

АЛЕКСАНДРЪ

Стр.



Mr. George H. H. H.

«Въ борьбѣ обрѣтешь ты право свое».

П. ПОЛИВАНОВЪ.

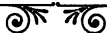
УМ. ОР.
РАСПОПОВА

АЛЕКСѢВСКІЙ РАВЕЛИНЪ

Отрывокъ изъ воспоминаній



Съ портретомъ автора.



„Въ знаніи и борьбѣ — сила и право“

ИЗДАНИЕ;
ВЛ. РАСПОПОВА.

1906.

70 7411
1307110

MILIUKOV LIBRARY

74

НХ312
Р63А3

Отрывокъ изъ воспоминаній.

«Redivivus et ultor.»

Дорогіе друзья! Вы такъ интересовались мной, моимъ прошлымъ, всѣмъ тѣмъ, что мнѣ пришлось испытать и пережить, что я рѣшилъ послать Вамъ этотъ отрывокъ изъ воспоминаній. Я думаю, что онъ не годится для печати въ томъ видѣ, въ какомъ написанъ. Дѣло въ томъ, что я писалъ его, думая о моихъ дорогихъ старыхъ друзьяхъ и товарищахъ, почему тутъ такъ и много намековъ на нѣкоторые лица и событія, которыя могутъ быть поняты тѣми, кто зналъ и любилъ меня. Центромъ разсказа является моя личность съ ея страданіями, думами, воспоминаніями, чувствами, множествомъ мелкихъ подробностей, которыя не всѣмъ могутъ показаться интересными и, безъ сомнѣнія, этотъ разсказъ долженъ будетъ подвергнуться передѣлкѣ для того, чтобы могъ появиться въ печати. Я писалъ такъ, какъ будто обращался къ дорогимъ и любящимъ меня людямъ, для которыхъ мой разсказъ,—при всѣхъ его недостаткахъ, несовершенствахъ,—будетъ все-таки представлять интересъ, возбудить который онъ не могъ-бы среди большой публики.

I.

.... 27-го октября 1882 г., часу въ десятомъ вечера, поѣздъ, на которомъ я былъ вывезенъ изъ Москвы, вѣхалъ подъ желѣзный навѣсъ Николаевского вокзала. Я находился, какъ это бываетъ всегда, въ заднемъ, служебномъ вагонѣ, а потому и очутился противъ наименѣе оживленной,—лучше сказать,—противъ безлюдной части платформы. На ней промелькнулъ какой-то кондукторъ, потомъ смазчикъ, потомъ еще какой-то желѣзнодорожный чинъ, махавшій на ходу руками и кричавшій кому-то: «поди сюда». Изъ окна мнѣ была видна только часть стѣны вокзала и фонарь, окруженный мутнымъ сіяніемъ, что

М304571

указывало на обиліе въ воздухѣ водяныхъ паровъ, и, сдѣлавъ это научное наблюденіе, я замѣтилъ, что болѣе наблюдать мнѣ нечего, а потому расположился поудобнѣе на своей скамейкѣ, вытянулъ ноги, откинулся къ спинкѣ сидѣнья и, закуривъ папиросу, то слѣдилъ за клубами голубоватаго табачнаго дыма, медленно расплывавшимися въ воздухѣ, то прислушивался къ тому гулу, которымъ всегда сопровождается разѣздъ публики съ большого вокзала. Отдѣльных звуковъ пока не было слышно. Все заглушалось топотомъ ногъ нѣсколькихъ сотъ человѣкъ, спѣшившихъ скорѣе выбраться изъ вагона, получить багажъ и, уѣздивъ на извозчика, скорѣе добраться, если не до своихъ пенатовъ, то хоть до Знаменской гостиницы. У меня не могло быть никакихъ подобныхъ заботъ; я зналъ, что благопонеचितельное начальство приготовить для меня и карету, и квартиру, соответствующую моему званію, а багажъ мой былъ на попеченіи двухъ жандармскихъ унтеръ-офицеровъ, сопровождавшихъ меня изъ Москвы. Скоро, однако, гулъ началъ стихать и изъ него стали выдѣляться отдѣльные звуки, и ухо улавливало то стукъ колесъ по мостовой, то сердитый окрикъ жандарма, осаживающаго, должно быть, какого-нибудь извозчика, то крикъ: «подавай», то отрывистыя приказанія желѣзнодорожнаго начальства, но все заглушали по временамъ отчаянные свистки, должно быть, сигнальные, маневрирующаго локомотива. Наконецъ, все стало стихать, кромѣ проклятаго локомотива, которому вдругъ началъ вторить другой. Этотъ дуэтъ страшно рѣзалъ ухо; я снова выглянулъ въ окно, чтобъ посмотреть нѣтъ ли чего новаго, но все оказалось по прежнему: влажная отъ осенняго тумана платформа также безлюдна, фонарь горитъ тѣмъ же дрожащимъ и мутнымъ свѣтомъ. Я простоялъ минуты двѣ и снова хотѣлъ спокойно уѣсться, какъ вдругъ вдали послышался топотъ бѣгущаго человѣка; я повернулъ голову и увидѣлъ какого-то не то машиниста, не то кочегара. Это меня окончательно разочаровало, и я было отошелъ отъ окна, но вдругъ передъ нимъ, словно изъ земли, выросъ какой-то сѣденькій жандармскій штаб.-офицеръ.

Появленіе этого голубого архангела было для меня всѣмъ неожиданно, и я, будучи увѣренъ въ томъ, что онъ не слетѣлъ ко мнѣ съ небесъ, сталъ сначала вновь осматривать стѣну вокзала, но тамъ не было видно никакой двери, потомъ платформу, но и тамъ не замѣтилъ ни хода какого-нибудь, ни

лѣстницы, ни даже траппа, изъ котораго мой архангелъ могъ бы выскочить на манеръ опернаго Мефистофеля. Внимательно разсматривая и въ то же время какъ будто не глядя на меня, этотъ офицеръ сталъ прохаживаться мѣрнымъ шагомъ предъ моимъ вагономъ. Если я начиналъ пристально смотрѣть на него, то онъ возводилъ очи горѣ, къ желѣзному навѣсу за неимѣніемъ небесъ, или же опускалъ ихъ внизъ, словно я былъ какой-то аспидъ и василискъ, могущій злобнымъ своимъ взглядомъ убить человѣка. Я усѣлся и закурилъ новую папиросу, но сейчасъ же вздрогнулъ отъ внезапнаго толчка: дали задній ходъ, и поѣздъ сталъ медленно подаваться въ обратномъ направленіи. Предъ моимъ взглядомъ прошли децимальные вѣсы, бухта веревокъ, фонарь, груда какихъ-то тюковъ, покрытая рогожей, опять фонарь, затѣмъ наступила тьма кромѣшная, но голубой архангелъ все шелъ тѣмъ же мѣрнымъ шагомъ противъ моего окна и, время отъ времени, поглядывалъ на меня какъ-то сбоку. Мы уже вышли изъ-подъ навѣса и остановились гдѣ-то у конца, или, если хотите, начала платформы. Мои жандармы, въ виду близости начальства, подтянулись, оправдали свою амуницію и не имѣли вида сонныхъ рохлей, какими выглядывали всю дорогу. Время отъ времени они посматривали на дверь вагона, и я понялъ, что пора собираться. Дѣйствительно, скоро вошелъ жандармскій унтеръ и что-то шепнулъ подошедшему къ нему моему старшему. «Ну, пожалуйста!» обратился ко мнѣ послѣдній.

Я застегнулъ пальто, повязалъ кашнэ, поправилъ шляпу и направился къ выходу. Старшій предупредительно распахнулъ мнѣ дверь, а второй унтеръ понесъ мои вещи. Пройдя нѣкоторое разстояніе по платформѣ, мы спустились съ нея на мостовую и, какъ мнѣ показалось, это было то самое мѣсто, гдѣ меня высадили изъ кареты въ декабрѣ 78 г., когда я шелъ въ административную ссылку. Теперь тоже стояла карета, близъ которой толпилось нѣсколько человѣкъ городскихъ и околоточныхъ, а подальше совсѣмъ уже въ тьмѣ, виднѣлась группа какихъ-то «особо на сей предметъ командированныхъ чиновъ», къ нимъ присоединился шедшій за мной сѣденькій офицеръ, а я усѣлся въ карету. Подскочившій городской молодцовато захлопнулъ дверцу, но мы продолжали еще стоять нѣкоторое время, пока какой-то грубый начальственный голосъ не крикнулъ: «пошелъ!» Кучеръ тронулъ вожжами, и карета плавно покати-

лась, убаюкивая меня мѣрнымъ качаніемъ рессоръ. Переѣхавъ черезъ площадь, карета направилась по Невскому, гдѣ мнѣ представился послѣдній случай видѣть картину вечерней уличной жизни. Къ сожалѣнію, хотя жандармы забыли завѣсить окна кареты, видно было очень мало. Ночь была туманная, ѣхали мы по срединѣ улицы, и на такомъ разстояніи прохожіе казались какими-то китайскими тѣнями, а не живыми людьми. Очевидно, не «себя прогуливать», какъ выражался одинъ мой знакомый нѣмецъ, вышли всѣ они на улицу въ такой часъ, и такую погоду. Каждый шелъ по своему дѣлу, каждый торопился, каждый, ежась отъ холода, сырости и, Богъ вѣсть, откуда падающихъ за шею капель воды, заботился о томъ, чтобы глубже надвинуть на глаза шляпу, выше поднять воротникъ. Туманъ былъ такъ силенъ, что не только фонари свѣтили тускло, но даже блестящія витрины магазиновъ не производили никакого эффекта.

Мы свернули на Литейный, и тутъ сердце у меня дрогнуло: передо мной мелкнула фигура студента Медико-хирургической Академіи (нынѣ Военно-Медицинская) въ форменномъ пальто. Можетъ быть, кто-нибудь изъ старыхъ товарищей? подумалъ я. Лица я не могъ разсмотрѣть, такъ какъ, шагая огромными шагами навстрѣчу нашей каретѣ, онъ слишкомъ быстро исчезъ изъ моего поля зрѣнія. На углу Пантелеймоновской у меня произошла встрѣча, глубоко запечатлѣвшаяся въ памяти: кучеръ повернулъ очень круто, у самого угла не сдержалъ лошадей. Наша карета обратила на себя вниманіе двухъ премиленныхкихъ курсисточекъ, стоявшихъ на углу. Можетъ быть, онѣ остановились просто, чтобы дать проѣхать каретѣ, можетъ быть, замѣтили жандармовъ и даже меня. Я нагнулся къ окну и успѣлъ ихъ хорошо разсмотрѣть. У одной изъ нихъ, какъ сейчасъ помню, была подъ мышкой связка книгъ, а другая держала въ рукахъ бумажный мѣшокъ, изъ котораго выглядывали кончики булки. Въ ту же минуту обѣ онѣ взглянули на меня. и въ глазахъ ихъ я прочелъ выраженіе жалости, сочувствія. Это былъ послѣдній взглядъ сочувствія, который я видѣлъ, уходя изъ жизни,—на сколько времени? — Я самъ не могъ отвѣтить на этотъ вопросъ, а дѣло было похоже на то, что ухожу я навсегда; но долго раздумывать было некогда, карета остановилась передъ воротами бывшаго III Отдѣленія собственной Его Имп. Велич. Канцеляріи, гдѣ, по упраздненіи III Отдѣленія, остался штабъ корпуса жандармовъ.

Сквозь стекло оконца калитки показалась какая-то физиономія, затѣмъ ворота сейчасъ же распахнулись, и мы въѣхали на знакомый мнѣ дворъ: налѣво тянулось одноэтажное зданіе, гдѣ находились прежде квартиры какихъ-то служащихъ въ этомъ учрежденіи. Затѣмъ, подѣ прямымъ угломъ отъ этого зданія шло поперекъ двора, раздѣляя его на двѣ части, другое зданіе, четырехъэтажное съ пролетомъ посрединѣ. Я тотчасъ же узналъ въ этомъ зданіи первый подъѣздъ съ лѣвой стороны, такъ какъ въ 78 г. меня возили сюда на допросъ, и я вспомнилъ, что надъ первой дверью площадки второго этажа была прибита доска съ надписью «Канцелярія для производства дѣлъ о преступленіяхъ государственныхъ». Въ одной изъ комнатъ этой канцеляріи и былъ тогда учиненъ мнѣ допросъ; но карета оставилась не тутъ, а у перваго подъѣзда съ правой стороны пролета. Надъ подъездомъ красовалась надпись «Казначейская», — что меня сначала изумило; вѣдь не жалованье же получать привезли меня сюда! Старшій вышелъ изъ кареты и сталъ подниматься по лѣстницѣ, я же попробовалъ вступить въ разговоръ съ оставшимися со мной наединѣ младшимъ унтеромъ, но онъ, видимо, боялся сказать мнѣ что-нибудь, отвѣчая уклончиво и неопредѣленно: «мы развѣ можемъ это знать?» «этого я знать не могу», и т. д. Скоро старшій вернулся и опять попросилъ меня «пожаловать».

Меня повели къ первому, знакомому (мнѣ, подъѣзду). Мы поднялись на площадку второго этажа, гдѣ, по прежнему, надъ первой дверью виднѣлась вышеупомянутая надпись. Но, минуя эту дверь, жандармы повели меня по корридору направо, въ концѣ котораго оказалась дверь, ведущая въ какую-то прихожую. Тамъ висѣли два-три пальто, стоялъ зонтикъ и палка, а на диванѣ противъ двери дремалъ какой-то старый, престарый хрычъ въ зеленомъ двубортномъ сюртукѣ съ бронзовыми пуговицами, должно быть, такъ называемый курьеръ. Онъ быстро вскочилъ на ноги, протеръ глаза и, перешепнувшись со старшимъ унтеромъ, пошелъ докладывать о нашемъ прибытіи въ сосѣднюю комнату, — дверь въ которую была открыта настежь, — молодому человѣку, очевидно, дежурному чиновнику, который въ это время былъ занятъ надписываніемъ чего-то на бланкахъ, лежавшихъ передъ нимъ цѣлой грудой. Молодой человѣкъ всталъ, посмотрѣлъ на меня съ любопытствомъ и ушелъ куда-то во внутренніе апартаменты, откуда вернулся черезъ двѣ —

три минуты въ сопровожденіи благообразнаго бритаго старичка со слащавыми манерами. Какъ разъ въ это время вошелъ жандармъ, ходившій за моими вещами.

«Это напрасно»,—елейнымъ голосомъ замѣтилъ старичекъ, и въ то же время отвѣсилъ мнѣ элегантный поклонъ.—«они тутъ не останутся».

Жандармъ въ недоумѣніи поставилъ вещи на полъ, но молодой чиновникъ, почтительно нагнувшись къ уху старика, что-то шепнулъ ему.

«Ахъ!—да, да оставьте тутъ вещи»,—сказалъ старичекъ, —«а за офицеромъ послали уже?»

«Они сейчасъ будутъ», доложилъ хрычъ.

И, дѣйствительно, почти сію же минуту гдѣ-то послышался лязгъ и звонъ, затѣмъ распахнулась дверь и вошелъ молодой жандармскій офицеръ съ громадной лысиной совсѣмъ даже не по чину: онъ былъ всего только поручикъ. Этотъ офицеръ былъ обвѣшанъ всѣми бирюльками полной жандармской формы: металлическія эполеты, аксельбанты, металлическая лядунка, шарфъ, португеза, шашка, револьверъ—все это при каждомъ движеніи звякало и сверкало, что, видимо, очень нравилось бравому поручику. Граціозно склонивъ голову нѣсколько въ бокъ и щелкнувъ шпорами, онъ поздоровался со мной, а затѣмъ подошелъ къ старому чиновнику, и они заговорили вполголоса. Я могъ разобрать только послѣднія слова старичка: «знаете, рядомъ съ тѣмъ, который давно». Офицеръ склонилъ голову и сказалъ: «слушаю-сь». Потомъ, обратившись ко мнѣ и снова щелкнувъ шпорами, сказалъ: «прошу пожаловать»; жандармамъ онъ скомандовалъ: «сабли—вонъ!».

И повели меня, раба Божія, столь торжественно, какъ еще никогда не приходилось ходить въ предѣлахъ тюремной территоріи, ибо въ судъ, слушать приговоръ въ окончательной формѣ, меня вели подъ конвоемъ цѣлой полуроты пѣхоты, десятка конныхъ полицейскихъ и множества околоточныхъ, но тогда вели по улицамъ города.

Впереди шелъ жандармъ съ обнаженной шашкой, сзади жандармъ съ обнаженной шашкой, а сбоку офицеръ. Мы спустились на дворъ, вошли въ тотъ самый подъѣздъ съ надписью «Казначейская», у котораго первоначально остановилась карета; потомъ, взойдя на второй этажъ, повернули въ корридоръ направо, и я очутился въ комнатѣ дежурнаго офицера, какъ зна-

чилося надъ дверью. Поручикъ сначала величественно scomандовалъ: «сабли въ но-жны!» Затѣмъ, любезно усадилъ меня, предложилъ папиросу и сталъ заносить въ книгу описъ моихъ вещей. Потомъ онъ сказалъ съ очень милой улыбкой, что меня надо обыскать. Въ этомъ обыскѣ онъ принялъ личное участіе, вѣроятно, не довѣряя служебному рвенію жандармовъ; въ это время, кромѣ моихъ, вошелъ еще рядовой жандармъ изъ караула, и, хотя онъ выворачивалъ карманы моего пальто самымъ любезнымъ образомъ, хотя онъ встряхивалъ вынутый оттуда носовой платокъ съ тою же милой улыбкой, съ какой онъ предложилъ мнѣ папиросу, но процедура, такъ называемаго, «личнаго обыска», вещь столь унижительная и въ то время была для меня столь мало привычная, что ни улыбка, ни новое предложеніе папиросы послѣ обыска, отъ которой я, понятно, отказался, не могли заглушить во мнѣ чувства оскорбленнаго человеческого достоинства, и по тѣлу пробѣжала дрожь. Скоро, однако, мнѣ пришлось привыкнуть и не къ такимъ вещамъ, но объ этомъ послѣ.

Когда все было окончено, поручикъ предложилъ мнѣ слѣдовать за нимъ, снова scomандовалъ: «сабли вонъ!» И снова началось шутовское шествіе. Когда мы взопли на площадку третьяго этажа, тамъ сейчасъ-же, словно по мановенію волшебнаго жезла, распахнулись двери и справа и слѣва. За этими дверями были видны вторыя, рѣшетчатыя, желѣзныя двери, за которыми стояло по жандарму съ обнаженной шашкой. Офицеръ повернулъ направо, и меня поразила фізіономія часового, который, услыхавъ, очевидно, наши шаги, открылъ черезъ рѣшетку наружныя двери. Молодой, еще безусый, съ ухарски заломленной на бокъ безкозырной фуражкой, съ наглымъ выраженіемъ полного и румянаго лица и выпуклыхъ бычачьихъ глазъ,—онъ показался мнѣ типомъ опричника. По знаку офицера «опричникъ» отперъ замокъ и распахнулъ внутреннюю дверь. Мы вошли въ корридоръ, гдѣ слѣва шла глухая стѣна, а справа—рядъ камеръ.

Проходя мимо двери № 1, я былъ удивленъ тѣмъ, что на была не только заперта, но и запечатана. Замокъ былъ обвязанъ бичевкой, концы которой были припечатаны къ четвертушкѣ бумаги. Ничего подобнаго ни у меня, ни у моего востѣда въ № 3 не было, и кто сидѣлъ въ № 1—я и до сихъ споръ не знаю. На слѣдующій день я убѣдился, что всякій разъ,

когда заходили къ этому таинственному узнику, при этомъ присутствовалъ офицеръ, лично взламывавшій печать и снова запечатывавшій замокъ.

Дверь № 2 была распахнута и, войдя въ назначенную мнѣ камеру, я былъ пріятно удивленъ ея уютнымъ видомъ. Столъ непохожимъ на всѣ тюремныя помѣщенія, которыя я видѣлъ на своемъ вѣку.

Нужно замѣтить, что меня возили только на допросъ въ III Отдѣленіе (въ 78 г.), но тамъ я не сидѣлъ и зналъ эту кутузку лишь по рассказамъ товарищей, которымъ пришлось тамъ побывать. Моя камера представляла изъ себя большую комнату въ два окна, стекла которыхъ оказались, однако, матовыми, но я это замѣтилъ не сразу. Межъ оконъ стоялъ письменный столъ съ ящикомъ, а передъ нимъ стулъ. вмѣсто обычной лампы на столѣ стояла стеариновая свѣча. Полъ былъ деревянный, крашеный. Налѣво отъ двери находилась круглая печь, обитая желѣзомъ, а у правой стѣны помѣщалась вполне приличная желѣзная кровать съ мѣдными шариками на столбикахъ въ головахъ и ногахъ. Постель была покрыта хорошимъ байковымъ одѣяломъ. Даже дверь, съ обычной мѣдной ручкой, не имѣла бы вида тюремной двери, если бы въ ней не было прорѣзано четырехугольное отверстіе со стекломъ, забранное внутри мѣдной рѣшеткой, а снаружи закрывавшееся черной заслонкой. Меня попросили раздѣться, дали хорошее тонкое бѣлье съ клеймомъ III. К. Ж., т. е., штабъ корпуса жандармовъ. туфли и щегольской синій халатъ на красной подкладкѣ. Поручикъ предложилъ прислать мнѣ чаю, замѣтивъ, что свѣчу тушить не полагается; нельзя также имѣть собственныхъ папиросъ. вмѣсто которыхъ даются казенныя, но такъ какъ теперь время позднее и онъ не знаетъ можно ли достать папиросъ, то пока онъ оставитъ мнѣ пару. Съ этими словами онъ вынулъ папиросы изъ моего портсигара и подаль, прибавивъ, что «этого, собственно говоря, не полагается, да ужъ. ну!...» Тутъ бравый поручикъ махнулъ рукой, но тотчасъ же, словно испугавшись проявленнаго либерализма, обратился къ рядовому жандарму. игравшему здѣсь роль прислуги, и велѣлъ сходить къ вахтерѣ и узнать, есть ли у него «для нихъ» папиросы. Жандармъ вернулся съ коробочкою готовыхъ папиросъ, и тогда поручикъ попросилъ меня вернуть собственные, которыя онъ только что

мнѣ далъ. Затѣмъ, шелкнувъ шпорами и пожелавъ спокойной ночи, онъ вышелъ, чему я былъ очень радъ.

Конечно, жандармское нахальство и грубость возмутительны и оскорбительны, но меня также возмущаетъ подобная преувеличенная вѣжливость и любезность. Вѣдь,—подумалъ я,—этотъ офицеръ завтра спроситъ, можетъ быть, жандарма: «а есть у тебя «для нихъ» кандалы?» И это все тѣмъ же любезнымъ тономъ, съ той же милой улыбкой.

Черезъ нѣсколько минутъ мнѣ принесли на поднось двѣ кружки чая и маленькій розанчикъ. Хотя чай оказался не горячимъ, а только теплымъ, все же я выпилъ его не безъ удовольствія и, закуривъ казенную папиросу, сталъ ходить изъ угла въ уголъ, ломая голову надъ вопросомъ: зачѣмъ меня сюда привезли. Мнѣ казалось, что власти, въ виду особаго характера моего преступленія, рѣшили не держать меня въ провинціальномъ острогѣ, а запереть куда-нибудь покрѣпче, но раньше я этого не думалъ, основываясь на словахъ Толстого (м-ра вн. дѣлъ), который сказалъ сестрѣ Новицкаго, что насъ обоихъ будутъ держать въ Саратовѣ до весны. Правда, я колебался въ своемъ довѣрїи къ словамъ Толстого, когда, вскорѣ послѣ объявленія помилованія *), ко мнѣ зашелъ губернаторъ **) и началъ плакаться, что ему изъ-за меня было много непріятностей, что онъ уже просилъ, чтобы меня убрали поскорѣе, а моему отцу онъ говорилъ, что теперь, можетъ быть, уже со всѣхъ четырехъ сторонъ ведутъ подкопы подъ острогъ, что онъ боится какихъ-либо новыхъ происшествій, ибо у людей, какъ я, способныхъ на такое самопожертвованіе, всегда есть подобные же преданные друзья. Тогда я только посмѣялся надъ его кудахтаньемъ. Меня несомнѣнно увезли бы и безъ того, но все таки я подумалъ о возможности увоза и рѣшилъ, что меня посадятъ въ Бутырки, гдѣ обыкновенно сидѣли наши до начала этапнаго движенія весной, ибо специально политическія пересыльные тюрьмы въ Вышнемъ Волочкѣ и Мценскѣ, существовавшія въ 79 и 80 годахъ, нынѣ уже упразднены. Ужаснаго въ этомъ я не видѣлъ ничего, и весьма легкомысленно смот-

*) Я былъ осужденъ 21-го сентября 1882 г.; 19 октября было объявлено помилованіе, а 25 октября меня увезли.

**) Губернаторъ Саратова, Алексѣй Алексѣевичъ Зубовъ (теперь служить въ IV Отд. Вѣд. Имп. Марин), кузенъ моей матери, значить, мой двоюродный дядя.

рѣлъ на свое положеніе, но за то я былъ очень удивленъ, когда вечеромъ 25 октября ко мнѣ пришелъ полиціймейстеръ и объявилъ, что получена телеграмма, предписывающая отправить меня въ Петербургъ съ первымъ же поѣздомъ. Я много и долго думалъ, но ни до чего додуматься не могъ; только предчувствіе чего-то сквернаго, не оставлявшее меня всю дорогу, стало принимать теперь болѣе опредѣленныя формы. Мнѣ кажется несомнѣннымъ, что меня будутъ держать въ крѣпости до самой отправки партіи въ Сибирь,—я былъ еще настолько наивенъ, что не считалъ возможнымъ попасть «за такіе пустяки»,—какъ попытка освобожденія вооруженною силою, сопровождавшаяся убійствомъ,—въ Алексѣевскій равелинъ, который, казалось мнѣ, предназначенъ только для царубійцъ и членовъ Исполнительнаго Комитета, но даже и при такомъ допущеніи — будущее мнѣ не улыбалось.

Я зналъ, въ какихъ условіяхъ держали въ Трубецкомъ (бастіонѣ) политическихъ каторжанъ, зналъ, въ какомъ ужасномъ состояніи оттуда вывозили, иногда даже черезъ какихъ-нибудь шесть мѣсяцевъ, не говоря о тѣхъ, которымъ пришлось провести тамъ годъ или болѣе, а еще — обращеніе на «ты»: быть можетъ, кандалы, бритые головы, побои, наконецъ... Да, отъ этого можно въ мѣсяцъ сойти съума. И я слалъ горячія проклятія тому человѣку, который уничтожилъ послѣ объявленія помилованія, ядъ, полученный имъ для передачи мнѣ. Въѣдъ онъ мнѣ могъ бы очень и очень пригодиться. Угнетало меня еще и то, что я не успѣлъ передать на волю нѣкоторыхъ вещей, а теперь уже поздно. Я ругалъ себя на чемъ свѣтъ стоитъ за то, что во время не написалъ всего, что было нужно: я рѣшилъ подождать пріѣзда сестры, хлопотавшей въ Петербургѣ о моемъ помилованіи, желая ей объяснить кое-что болѣе толково въ личномъ разговорѣ,—сестру же я ждалъ, судя по телеграммѣ, со дня на день, но моя медлительность послужила только къ подтвержденію древняго изреченія: не откладывай до завтра того, что можешь сдѣлать сегодня.

Страшно меня волновало и то, что мой внезапный увозъ, будетъ страшнымъ ударомъ для отца, и безъ того совершенно разбитаго всѣмъ происшедшимъ, да и многое, многое другое поднимало въ груди волну жгучей душевной боли. — Потомъ, какъ-то вдругъ, я перешелъ къ болѣе радостнымъ воспоминаніямъ. Съ чувствомъ горячей любви и признательности вспо-

нилъ я «пятерыхъ», которые дали знать мнѣ въ тюрьму, что готовы умереть для моего освобожденія и такъ или иначе, но они меня вырвутъ «изъ стѣнъ тюрьмы, изъ стѣнъ неволи».

Помню, я былъ тогда не только тронутъ этимъ, но еще и перепуганъ. Я послалъ имъ сердечную благодарность за такое отношеніе ко мнѣ, но прибавилъ, что, по моему глубокому убѣжденію, я его не заслуживаю. Ихъ жизни слишкомъ мнѣ дороги, они слишкомъ нужны для дѣла, чтобъ я рѣшился поставить ихъ на карту ради своего избавленія отъ каторги, и я умолялъ ихъ сложить головы на какомъ-нибудь другомъ, болѣе плодотворномъ, дѣлѣ. Вспомнилось мнѣ затѣмъ мое трогательное прощанье съ очень милымъ молодымъ артиллеристомъ, которому непремѣнно хотѣлось проводить меня изъ дому и снова попросить для себя какой-нибудь болѣе активной роли въ нашемъ предпріятіи. Раньше онъ предлагалъ свои услуги въ качествѣ кучера, и очень огорчился, когда я сказалъ ему, что таковой имѣется, да я, во всякомъ случаѣ, не сталъ бы путать его въ это дѣло. «Позвольте, П. С., мнѣ, по крайней мѣрѣ, стоять на тротуарѣ противъ острога. Если что-нибудь случится — я брошусь съ саблей. Вы знаете, саблей можно много сдѣлать», заключилъ онъ многозначительно, и при послѣднихъ словахъ опустил лѣвую руку на эфесъ. Онъ былъ очень милъ въ эту минуту, но то, что онъ говорилъ въ эту минуту, было въ такой же мѣрѣ нелѣпо. Я сталъ убѣждать его, что подобная вещь никакой пользы не принесла бы, что мундиръ не произведетъ никакого эффекта, и напрасно онъ полагаетъ, что передъ нимъ всѣ разступятся и всѣ станутъ слушаться его приказаній. Онъ меня перебилъ на первомъ словѣ и сказалъ «одинъ мой мундиръ могъ бы произвести впечатлѣніе», къ тому же у него уже есть роль въ этомъ дѣлѣ; вѣдь онъ долженъ, согласно уговору, быть на извѣстномъ мѣстѣ за городомъ, чтобъ встрѣтить насъ въ томъ случаѣ, если намъ придется круто и нужно будетъ удирать за городъ. Съ большимъ горемъ отказался онъ отъ своего дѣтскаго, но несомнѣнно героическаго замысла и, обнимаясь на прощанье, мы оба прослезились. Услыхавъ много лѣтъ спустя, уже въ Шлиссельбургской тюрьмѣ, что въ 83 году онъ бѣжалъ за границу, я отъ души порадовался и подумалъ, что подъ звѣздами усьянномъ знаменемъ Соединенныхъ Штатовъ ему будетъ лучше житься, чѣмъ въ сѣни крыль двуглаваго орла.

Всѣ эти думы и воспоминанія страшно взволновали меня и.

улегшись наконецъ въ постель, я долго, долго не могъ сомкнуть глазъ. Подъ утро усталость взяла свое, и я заснулъ.

Утромъ меня разбудилъ стукъ отпираемой двери. Я протеръ глаза и увидѣлъ трехъ жандармовъ. Одинъ держалъ въ рукахъ тазъ, другой—полотенце и рукомойникъ, а третій—унтеръ-офицеръ, — игралъ роль наблюдателя. Жандармы подали мнѣ умыться, наскоро подмели полъ и принесли чай, оказавшійся на этотъ разъ горячимъ, и, для разнообразія, вмѣсто розана—булку. Напившись чаю, я занялся осмотромъ моего новаго жилища, которое было бы похоже на номеръ гостиницы, если бы не оконце въ двери и не матовыя стекла въ окнахъ. Я тщательно осмотрѣлъ стѣны, но не нашелъ никакихъ надписей. Окно и подоконникъ, оказалось, были покрыты толстымъ слоемъ пыли и на ней было начертано пальцемъ: Дворковъ. Я послѣдовалъ этому примѣру, добавилъ годъ и число мѣсяца: нужно добавить, что окна были расположены низко и не имѣли тюремнаго вида. Тутъ-же я замѣтилъ, что къ моему сосѣду въ № 1 заходили послѣ всѣхъ и при этомъ присутствовалъ офицеръ. Я отчетливо слышалъ, что послѣ того, какъ заперли дверь, офицеръ спросилъ жандарма: «а сургучъ у тебя есть?»—Точно такъ, ваше благородіе—послышалось въ отвѣтъ.

Послѣ окончанія утренняго обхода, когда все затихло, я сдѣлалъ нѣсколько попытокъ вызвать на разговоръ своихъ сосѣдей, но они остались глухи къ моему зову; затѣмъ я сталъ ходить изъ угла въ уголъ, снова пытаюсь рѣшать вопросы, осаждавшіе меня наканунѣ. Долго ли меня здѣсь продержатъ? Зачѣмъ меня сюда привезли? Вѣдь въ этой тюрьмѣ держать только слѣдственныхъ, да и то недолго. Мнѣ вспомнились слухи объ одномъ товарищѣ, котораго послѣ суда, когда онъ уже сидѣлъ на каторжномъ положеніи въ Трубецкомъ, позвали на допросъ, гдѣ стращали пыткой и тѣмъ, что, въ случаѣ упорства, его навсегда оставляютъ въ крѣпости. Я рѣшилъ держать себя вполне корректно и вѣжливо, если со мной вздумаютъ продѣлывать что-либо подобное, но заявить разъ навсегда, что я могу лишь повторить сказанное мною на слѣдствіи, а именно: что охотно расскажу про себя все, но о другихъ людяхъ буду говорить только тогда, когда они дадутъ мнѣ на то полномочія. Послѣ мнѣ стало смѣшно и стыдно, что я готовился къ отпору, когда на меня никто и не думалъ наступать. Но что было—то было, а я рѣшилъ писать все, что удержалось въ

моей памяти изъ пережитого и перечувственного въ тюрьмѣ, за исключеніемъ кое-чего, гдѣ замѣшаны другія лица.

Размышленія мои были прерваны появленіемъ вчерашняго знакома, браваго поручика, какъ я его мысленно называлъ.

«Я скоро сдамъ должность новому офицеру, — обратился онъ ко мнѣ, — такъ нѣтъ ли у васъ какихъ-либо заявленій?»

Этотъ тюремный терминъ былъ мнѣ незнакомъ, и я не сразу сообразилъ, что именно онъ означаетъ. Да это чортъ знаетъ, что такое, — мелькнуло у меня въ головѣ, — думаетъ онъ, что ли, добиться отъ меня показаній?

Должно быть, онъ прочелъ въ выраженіи моего лица пробѣжавшія въ головѣ мысли и, улыбаясь, добавилъ: «можетъ быть, вы книгъ хотите, можетъ быть, письмо написать?—Я тогда передамъ ему, а онъ доложитъ директору департамента». — Да, да, поспѣшно отвѣтилъ я, — хочу и того и другого, и не можете ли вы мнѣ сказать, зачѣмъ это меня сюда привезли?

«Повѣрьте, убѣжденнымъ тономъ сказалъ поручикъ, ничего не знаю, ничего, но васъ, конечно, скоро пригласятъ и объяснять въ чемъ дѣло».

Съ этими словами онъ раскланялся со мною, и дверь хлопнула. Я снова сталъ ходить по камерѣ, потомъ попробовалъ было заговорить съ заглянувшимъ въ мое оконце часовымъ, спросивъ его, для начала, сколько теперь времени, но онъ, съ испуганнымъ лицомъ отскочилъ отъ двери и закрылъ оконце, отвѣтивъ мнѣ: «не могу знать». Очевидно, однако, что полдень былъ уже близко, ибо скоро мнѣ принесли обѣдъ. Не въ обиду будь сказано Вячеславу Константиновичу Плеве (онъ былъ тогда директоромъ департамента), обѣдъ былъ довольно скверный, цѣной въ четвертакъ и взятый въ плохенькой кухмистерской, а я, грѣшный человѣкъ, хоть и жилъ на волѣ очень скромно, даже впроголодь порой, но въ тюрьмѣ родные меня избаловали, и я привыкъ къ хорошему столу, да еще съ хорошимъ виномъ и фруктами на десертъ. Моя сестра Катя ежедневно мнѣ привозила столько всякой снѣди, что на троихъ хватило бы, да все такое вкусное, такое аппетитное, а тутъ дали мнѣ бифштексъ жесткій-прежесткій: только Барбосу какому-нибудь жевать впору, а супъ какой-то брандахлысть, въ которомъ плавала ненавистная мнѣ вермишель. Увы! — какъ скоро этотъ обѣдъ сталъ для меня недостижимымъ идеаломъ кулинарнаго Искусства, какъ часто, вытаскивая за ланку чернаго

таракана изъ приснопамятныхъ шей, которыми насъ отравляли въ Алексѣевскомъ равелинѣ, я думалъ, что вермишель представляетъ изъ себя несомнѣнно болѣе вкусную и аппетитную приправу; какъ часто, глотая затхлую размазню съ прогорклымъ масломъ, я вспоминалъ чудный аромат этого бифштекса, необычайно вкусную подливку и зарумянившійся картофель, которыми онъ былъ такъ изящно обложенъ!....

Послѣ обѣда я сдѣлалъ еще попытку вызвать моихъ со-
сѣдей, но опять безуспѣшно. Попробовалъ я было выстукивать буквы шагами, но полъ былъ деревянный, на ногахъ мягкія туфли, а потому звукъ получался очень глухой, къ тому же часовой усмотрѣлъ въ моемъ поведеніи что-то «сумнительное» и сталъ чуть ни ежеминутно заглядывать въ оконце, бросая на меня укоризненные взоры. Мнѣ стало, наконецъ, скучно и я прилегъ на кровать, внимательно прислушиваясь къ каждому звуку въ корридорѣ. Я слышалъ, какъ кого-то привели, потомъ кого-то увели. Въ № 1 опять пришелъ офицеръ и нѣсколько минутъ разговаривалъ съ сидѣвшимъ тамъ, но ни книгъ, ни письменныхъ принадлежностей мнѣ такъ и не принесли. Считая невозможной забывчивость со стороны жандармовъ, я не хотѣлъ напоминать, а слѣдовательно, обращаться со вторичной просьбой: довольно и разъ остаться въ дуракахъ. Часа въ три-четыре, по моимъ соображеніямъ, подали мнѣ чаю, а еще черезъ часъ, полтора ко мнѣ зашелъ новый дежурный офицеръ, не менѣе бравый и не менѣе обвѣшанный бирюльками, чѣмъ мой вчерашній знакомый. Поклонившись мнѣ, тоже со щелканьемъ шпоръ, онъ попросилъ меня одѣться и вышелъ въ корридоръ. Мнѣ принесли мое платье, а солдатъ, завѣдывавшій уборкой камеръ, сталъ тащить съ кровати подушку и одѣяло.

«Постой!» — замѣтилъ ему строго часовой, стоявшій въ дверяхъ камеры.

«Да вѣдь, *на* — *вовсе*»... отвѣтилъ ему солдатъ.

«Все равно, погоди!» — приказалъ первый.

Я одѣлся и тронулся изъ двери.

«Погодите», остановилъ меня часовой: «сейчасъ офицеръ придутъ».

Онъ, должно быть, находился недалеко и явился дѣйствительно сейчасъ же въ сопровожденіи двухъ унтеръ-офицеровъ. Тутъ опять повторилось вчерашнее: спереди и сзади меня встало по жандарму, офицеръ скомандовалъ: «Сабли вонъ!»

И меня повели въ дежурную комнату, гдѣ меня ожидалъ другой офицеръ, очень молодой и совсѣмъ не бравый, на немъ были даже синія очки. По обращенію сейчасъ было замѣтно, что служить онъ въ жандармахъ недавно и еще не успѣлъ освоиться со своимъ ремесломъ. Неловко поклонившись мнѣ, онъ сталъ ходить по комнатѣ и нервно теребить свою бородку, а дежурный офицеръ предложилъ мнѣ расписаться въ книгѣ, что я сполна получилъ свои деньги и вещи. Затѣмъ, онъ передалъ конвертъ съ моими бумагами и кабинетной фотографической карточкой подпоручику въ синихъ очкахъ, и я замѣтилъ на конвертѣ надпись № 2, т. е. номеръ камеры, въ которой я сидѣлъ. Съ этого момента я потерялъ свое имя и сталъ не болѣе, какъ цифрой.

«Ну, поѣдемте!» сказалъ неувѣреннымъ голосомъ мой спутникъ, и мы направились къ выходу. Дежурный проводилъ насъ до площадки, гдѣ, приложивъ руку къ околышку и звякнувъ шпорами, онъ сказалъ мнѣ: «всего хорошаго», а затѣмъ, обернувшись къ одному изъ жандармовъ, который зазвенѣлъ шпорами, спускаясь съ лѣстницы, замѣтилъ ему строго: «Стучи больше!» — жандармъ такъ и замеръ на мѣстѣ.....

II.

Выйдя на дворъ, мы сѣли въ ожидавшую насъ карету: офицеръ рядомъ со мной, а два жандарма напротивъ. Когда мы тронулись, одинъ изъ жандармовъ хотѣлъ было завѣсить окна кареты, но офицеръ процѣдилъ сквозь зубы: «Оставь!» Это дало мнѣ возможность въ послѣдній разъ взглянуть на жизнь и на людей, увидѣть снова мѣста, дорогія мнѣ по связаннымъ съ ними воспоминаніямъ. «Скажите, пожалуйста, куда вы меня везете?» обратился я къ офицеру.

— «Не все ли равно, получасомъ раньше; получасомъ позже узнать?» вяло процѣдилъ онъ сквозь зубы. Я промолчалъ, но черезъ минуту онъ самъ спросилъ меня: «а вы какъ думали, куда васъ помѣстятъ?»

«Конечно, въ крѣпость!»

Офицеръ мотнулъ головой и дрогнувшимъ голосомъ произнесъ: «Ну, вотъ»...

Разговоръ у насъ вообще не клеился, ибо поручикъ казался взволнованнымъ и чувствовалъ себя неловко, а я весь

хической работы, которая развивается при некоторых исключительных условиях,—въ ожиданіи смерти. напимѣрь. Теперь я могъ убѣдиться въ существованіи этого явленія на личномъ опытѣ.

Съ каждой секундой стѣны Петропавловской крѣпости становились все ближе и ближе, и я съ жадностью смотрѣлъ въ окно кареты, желая запечатлѣть въ памяти все, что проходило предъ моимъ взоромъ. Теперь, въ тяжелыя минуты прощанья съ вольнымъ свѣтомъ, все казалось мнѣ близкимъ, роднымъ, все обращало на себя вниманіе.

Я помню все. Я помню живо и собаченку, которая, поджавъ хвостъ, перебиралась съ одной стороны улицы на другую. и жирнаго лавочника въ бѣломъ фартукѣ, стоявшаго, заложивъ руки въ карманы, на порогъ своего «магазина колоніальныхъ товаровъ». Подѣздъ съ мѣдной дощечкой и звонкомъ, бѣлыя гардины въ окнахъ второго этажа слѣдующаго дома, кухарка съ корзиною въ рукахъ и несущійся ей навстрѣчу студентъ въ широкополой мягкой шляпѣ; вывѣска мясной лавки и красныя туши мяса, городской на посту, извозчикъ, погоняющій свою клячу, голуби, жадно расклевывающіе овесъ, просыпанный изъ торбы,—все, все это отпечаталось въ сознаніи такъ ярко, такъ живо, какъ будто я носилъ въ головѣ фотографическій аппаратъ... Вотъ мы проѣхали черезъ Кронверскій проспектъ,—и передъ нами показались стѣны крѣпости, подъемный мостъ, перекинутый черезъ каналъ и ворота, казавшіяся мнѣ пастью чудовищнаго звѣря. Вотъ мы уже катимся беззвучно по деревянной настилкѣ этого моста, и я только успѣваю бросить прощальный взглядъ на Неву, надъ которой уже начинается сгущаться вечерній туманъ, какъ мы уже очутились въ крѣпостныхъ воротахъ. Я раньше не сидѣлъ въ крѣпости, но мнѣ часто приходилось проходить черезъ нее, идя на Васильевскій островъ (въ то время движеніе черезъ крѣпость не возбранялось и черезъ нее можно было ходить и ѣздить до пробитія зори, когда поднимались мосты и запирались ворота), а потому я сразу ориентировался.

Какъ я и ожидалъ, мы поѣхали сначала прямо по направленію къ собору, мимо бульварчика и расположеннаго за нимъ бѣлаго двухэтажнаго зданія, гдѣ помѣщалась какая-то канцелярія; потомъ, когда мы выѣхали на площадь, офицеръ велѣлъ остановиться и, сказавъ жандармамъ, чтобы они ѣхали

«туда», пошелъ налѣво, по направленію къ зданію комендантскаго управленія у Невскихъ воротъ. Карета взяла также наискось, лѣвѣе, и мы направились къ узкому деревянному забору, идущему отъ крѣпостной стѣны, или зданія, примыкающаго къ стѣнѣ, къ монетному двору. Этотъ заборъ и видѣвшіяся въ немъ ворота были мнѣ извѣстны: я зналъ, что черезъ нихъ идетъ дорога въ Трубецкой бастионъ. Ворота распахнулись передъ нами столь же быстро и предупредительно, какъ это было наканунѣ въ III отдѣленіи, и мы въѣхали въ узкій переулокъ, съ правой стороны котораго шелъ очень высокій деревянный заборъ, отдѣляющій территорію Монетнаго двора отъ Трубецкого бастиона, а слѣва двухъ-этажное зданіе, нижнія окна котораго выходили на тротуаръ.

Здѣсь начиналась Екатерининская куртина, въ верхнемъ этажѣ которой находятся громадныя залы съ какими-то архивами. Въ одной изъ нихъ часто производятся допросы сидящимъ въ Трубецкомъ бастионѣ; тамъ же судили Верховнымъ Судомъ Каракозова (1866 г.) и Соловьева (1879 г.). Въ нижнемъ этажѣ находятся одиночныя камеры, выходящія окнами на Неву. До постройки тюрьмы—Трубецкого бастиона (1867—1868 г.) Екатерининская и Невская куртины были обычнымъ мѣстомъ заключенія слѣдственныхъ политическихъ арестантовъ, но въ мое время въ Невскую не сажали никого, кажется, тамъ уже и тюрьмы не было, а въ Екатерининскую сажали очень рѣдко, въ исключительныхъ случаяхъ, или въ видѣ наказанія, или въ цѣляхъ изоляціи.

Проѣхавъ по переулку нѣсколько десятковъ шаговъ, карета остановилась у подъѣзда, ведущаго въ тюрьму Трубецкого бастиона. Здѣсь намъ пришлось ждать офицера, какъ мнѣ сказали жандармы, когда я спросилъ ихъ, почему мы не выходимъ. Ждать пришлось довольно долго. Куранты собора проиграли одну четверть, другую, но офицера нѣтъ и нѣтъ. Я ежилсѣ отъ холода въ своемъ лѣтнемъ пальто, томъ самомъ, въ которомъ я былъ арестованъ, ноги мерзли, ибо я былъ безъ калошъ. Отъ нечего дѣлать, я выкурилъ одну за другой пару папиросъ. Одинъ изъ моихъ унтеровъ вынулъ часы и, взглянувъ на нихъ, вздохнулъ: «какъ долго!»

«Съ Лѣсникомъ, поди, чай пьетъ» — желчно замѣтилъ другой.

«Съ Лѣсникомъ, съ Лѣсникомъ — подумалъ я — что это

значить?—При мнѣ Лѣсникъ былъ жандармскимъ офицеромъ, которому постоянно поручали возить осужденныхъ въ Харьковскую централку и въ Сибирь. Я не зналъ еще, что въ 82 г. Лѣсникъ былъ назначенъ смотрителемъ въ Трубецкой бастіонъ. Разспрашивать жандармовъ не хотѣлось и разговаривать съ ними было противно, да и врядъ ли они сказали бы правду въ отвѣтъ на мои вопросы. Я старался сократить время куреньемъ и жегъ папиросу за папиросой. Чувствовалъ я себя скверно, и это ожиданіе всю душу изъ меня вымотало. «Скорѣй бы ужъ, скорѣй!» постоянно пробѣгало въ головѣ. То, что я испытывалъ, можно сравнить съ ощущеніями человѣка, которому нужно вырвать зубъ, а между тѣмъ приходится ждать очереди въ приемной дантиста; какъ ни скверно то, что ждетъ человѣка, но ожиданіе этой скверности хуже, чѣмъ она сама по себѣ.

Наконецъ, уже было шесть часовъ съ лишкомъ, кажется, около половины седьмого, на крыльцѣ показался присяжный и махнулъ рукой. Мы вышли, поднялись на крыльцо, пройдя черезъ караульную комнату мимо солдатъ-гвардейцевъ, курившихъ цыгарки, и ихъ ружей, поставленныхъ въ козлы, очутились въ большой, мрачной и до-нельзя грязной комнатѣ. Она слабо освѣщалась двумя окнами, выходившими въ тюремный садикъ; нижнія стекла этихъ оконъ были матовыя. Въ правомъ, переднемъ углу, стоялъ грязный деревянный столъ, а за нимъ по обѣимъ сторонамъ угла шла глаголемъ деревянная же скамейка. У лѣвой стѣны находилась круглая печь, обитая желѣзомъ, а далѣе, въ лѣвомъ углу, виднѣлась узкая дверь, окрашенная въ темно-вишневую краску. Отъ этой двери былъ растянута старая, рваная половикъ.

Прежде всего, я подошелъ къ печкѣ, чтобы нѣсколько отогрѣться и, прислонившись къ ней, сталъ осматривать комнату, но кромѣ покрытыхъ пылью стѣнъ съ облупившейся на нихъ мѣстами штукатуркой, да вставленной въ рамку за стекломъ «Инструкціи» для караула Трубецкого бастіона, нечего было и осматривать. Мой подпоручикъ былъ уже тутъ и ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, нервно поводя плечами и избѣгая смотрѣть мнѣ въ глаза. Я тоже прошелся раза два и, закуривъ папиросу, снова прислонился къ печкѣ. Прошло еще минутъ пять, и въ узенькую дверь, что была въ лѣвомъ углу, вошелъ присяжный, остановившійся у притолки, и краснощекій съдой старикъ въ тужуркѣ съ капитанскими погонами. Это былъ

капитанъ Домашневъ, завѣдывавшій жандармами, которые съ 80-го года были назначены въ крѣпость для наблюденія не только за арестантами, но и за присяжными, которымъ, въ свою очередь, было предписано слѣдить за жандармами (называю Домашнева капитаномъ, ибо тогда жандармы носили пѣхотные чины, а не кавалерійскіе, какъ это пошло съ 84 г.). Поздоровавшись съ моимъ подпоручикомъ, онъ что-то спросилъ его и осмотрѣлъ меня столь безцеремоннымъ взглядомъ, что меня покорило. Подпоручикъ сказалъ ему нѣсколько словъ вполголоса, а затѣмъ уже громко напомнилъ про какой-то «кожухъ», который онъ привезъ въ крѣпость, но обратно не получилъ.

«Хорошо, хорошо,—отвѣтилъ Домашневъ: велю разыскать». И, обращаясь ко мнѣ, сказалъ: «Ну, иди!».

Я просто остолбенѣлъ и не тронулся съ мѣста... Въ первый разъ услышалъ я обращеніе на «ты».... и кровь ударила мнѣ въ голову. Трудно передать, что я почувствовалъ въ теченіе нѣсколькихъ слѣдующихъ секундъ. Я зналъ, конечно, что со мной не будутъ обращаться, какъ съ принцемъ крови; я, казалось, былъ готовъ ко всѣмъ страданіямъ, лишеніямъ, униженіямъ; я говорилъ, что такого рода нравственныя надругательства, какъ бритье головы, кандалы, обращеніе на «ты», не могутъ имѣть въ моихъ глазахъ характера личнаго оскорбленія. Это общеобязательная, прилагаемая ко всѣмъ каторжанамъ, норма, это одно изъ средствъ, которыми существующій государственный строй борется со своими врагами. Человѣкъ, который меня заковываетъ или говоритъ мнѣ «ты», не желаетъ меня оскорбить, а только исполняетъ то, что отъ него требуется по службѣ, и моя вражда должна быть направлена не на это лицо, — можетъ быть, даже испытывающее душевную боль при исполненіи такихъ требованій,—а на государственный строй, на тѣхъ, наконецъ, лицъ, которыя служатъ опорой этого строя, а не на мелкую сошку, представляющую изъ себя лишь слѣбое орудіе начальственныхъ велѣній, орудіе, которое будетъ служить всякому государственному строю, будетъ слушаться какого угодно начальства, только-бы ему 20-го числа полностью уплачивали слѣдуемое жалованье. Затѣмъ, я такъ презираю этихъ людей, что стою выше ихъ оскорбленій; признать себя оскорбленнымъ—значить поставить себя на одну доску съ ними, признать ихъ равными себѣ.... И много, много разеуждалъ я

въ этомъ родѣ, но, увы! — не въ первый разъ оказалось, что броня философіи не въ силахъ защитить отъ комаринаго укуса. Умъ можетъ говорить, что ему угодно, но всякая логика безсильна, когда чувство въ разладѣ съ умомъ. Моей первой мыслью было обругать этого капитана, броситься на него и показать, что я не позволю обращаться съ собой такимъ образомъ, — но что будетъ дальше? — была вторая мысль. Меня избьютъ, свяжутъ, посадятъ въ карцеръ, т. е. я добьюсь только новыхъ и горшихъ оскорбленій. Ужъ если затѣвать въ такихъ условіяхъ исторію, то съ тѣмъ, чтобы не оставаться въ живыхъ. иначе-же не стоитъ и начинать дѣла, которое окончится новымъ и худшимъ срамомъ.

«Иди! иди!» повторилъ Домашневъ, видя, что я не трогаюсь съ мѣста.

Подпоручикъ подошелъ ко мнѣ, простился, и что-то сказалъ. Говорю «что-то», ибо отъ волненія не могъ разобрать словъ. Помню, онъ упомянулъ о капитанѣ и кивнулъ головой по направленію къ Домашневу. Изъ этого я понялъ, что онъ передалъ меня этому бурбону. Надо прибавить, что мѣстоименіе «ты» Домашневъ употребилъ тутъ въ первый и послѣдній разъ. Потомъ онъ говорилъ безлично, а отправляя въ Алексѣевскій Равелинъ, перешелъ даже на «вы». Я отвѣтилъ поручику поклономъ и пошелъ за Домашневымъ. Присяжный, пропустивъ меня въ дверь, пошелъ за мной.

Войдя въ ярко освѣщенный и опрятный корридоръ, я увидѣлъ слѣва рядъ камеръ, числомъ 8. У каждой изъ нихъ, на высотѣ аршинъ двухъ, былъ прибитъ желѣзный, окрашенный бѣлою краскою, бакъ для воды, ибо водопровода въ камерахъ не было. По правую руку была стѣна, выходившая на внутренній тюремный дворъ, гдѣ былъ садикъ для прогулки заключенныхъ и баня. Въ окнахъ этой стѣны нижнія стекла были матовыя. У послѣдней камеры, № 8, корридоръ поворачивалъ подъ тупымъ угломъ справа, а съ лѣвой стороны, сейчасъ-же за № 8, онъ расширялся въ полукруглую площадку. Съ этой площадки лѣвая дверь вела въ цейхгаузъ, правая — въ отхожее мѣсто, находившееся подъ лѣстницей, спускавшейся со второго этажа, а въ глубинѣ площадки была видна распахнутая дверь № 9, изолированнаго такимъ образомъ отъ всѣхъ остальныхъ, кромѣ № 45, находившагося надъ нимъ во второмъ этажѣ.

Должно замѣтить, что тюрьма Трубецкого бастиона имѣетъ видъ пятиугольника. Четыре стѣны тюрьмы идутъ параллельно фасамамъ бастиона, а пятая сторона лежитъ противъ его горжи. Эта послѣдняя (сторона) занята пріемной комнатою и квартирою смотрителя. Помнится, въ ней-же находится помѣщеніе для свиданій черезъ рѣшетку. По остальнымъ четыремъ—идутъ камеры, восемь номеровъ по каждой, да еще на четырехъ углахъ имѣются площадки съ изолированными номерами, такъ что въ каждомъ этажѣ имѣется 36 камеръ, всего-же, значить, 72.

Цѣлая толпа присяжныхъ и жандармовъ, челоуѣкъ 10-12, заступила мнѣ дорогу, когда мы дошли до вышеупомянутой площадки, и Домашневъ повернулъ къ двери № 9.

«Надо раздѣться», обратился онъ ко мнѣ.

Меня обступили вошедшіе вслѣдъ за нами присяжные и жандармы, и при помощи дюжины умѣлыхъ рукъ, черезъ двѣ минуты я остался въ чемъ мать родила. Одинъ взялъ мою шляпу и передалъ ее другому, тотъ третьему, и въ одинъ мигъ она исчезла изъ камеры. Въ то же время, одинъ тащилъ съ меня пальто за лѣвый рукавъ, другой—за правый, третій сталъ на одно колѣно и снималъ съ меня штиблеты. Я пораился быстротою и отчетливостію, съ какою все это дѣлалось: не было ни суетни, ни толкотни, ни излишней поспѣшности, а дѣло такъ и кипѣло. Видно было, что это дѣло имъ очень знакомо и въ немъ выработались свои опредѣленные пріемы.

Когда я былъ совершенно раздѣтъ, то двѣ пары дюжихъ рукъ легли ко мнѣ на плечи, и я опустился на стулъ, невѣдомо откуда появившійся. Тутъ началась послѣдняя и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самая тяжелая, самая унижительная часть обыска. Одинъ сталъ перебирать мои волосы гребенкой и пальцами, другой искалъ, не запрятано-ли что-нибудь между пальцами ногъ, третій полѣзъ мнѣ въ ухо, а двое, держа меня за руки, шарили подъ мышками. Искали, словомъ, вездѣ, гдѣ только можно было предположить какую-либо контрабанду. Я никогда-бы не повѣрилъ, что служебное рвеніе можетъ простираться такъ далеко... При первомъ прикосновеніи жандармскихъ лапъ, у меня потемнѣло въ глазахъ и я видѣлъ только рой какихъ-то блестящихъ точекъ, прыгающихъ по всѣмъ направленіямъ. Да, встряска была порядочная!

Когда обыскъ кончился, вся орда мгновенно отхлынула изъ камеры, оставивъ меня, нагого и босого, на холодномъ ас-

фальтовомъ полу. Я простоялъ совершенно ошеломленный, дрожа отъ холода и нервнаго потрясенія, минуты двѣ, три, какъ будто въ столбнякъ, но потомъ, увидѣвъ на кровати какое-то тряпье, подошелъ къ ней, чтобы чѣмъ-нибудь прикрыться и увидѣлъ, что кромѣ суконнаго халата, истрепаннаго и безъ подкладки и пары стоптанныхъ туфель, не было ничего. Я изумился: неужели здѣсь всѣхъ держать въ такомъ костюмѣ? Однако размышлять было невозможно, въ номерѣ было такъ холодно, что былъ видѣнъ паръ отъ дыханія, а потому, щелкая зубами, дрожа всѣмъ тѣломъ, я съ отвращеніемъ кутался въ эту грязную рвань и сѣлъ на кровать, крѣпко стиснувъ голову руками.

О чемъ я думалъ въ эту минуту?—не только теперь, но и тогда я не могъ дать себѣ отчета. Я чувствовалъ, что сердце бьется, какъ бѣшеное, голова горитъ, въ вискахъ стучитъ словно молотомъ. Я не думалъ,—въ головѣ проносился вихрь какихъ-то безсвязныхъ обрывковъ мысли,—но чувство безсилія, униженія, сознаніе безправія моего положенія угнетало меня до того, что, казалось, грудь разорвется отъ шемящей душевной боли. Потомъ, когда я нѣсколько успокоился, я пристыдилъ себя напоминаніемъ того, что все это я ожидалъ, на все это шелъ сознательно и обдуманно, что такой конецъ я много лѣтъ назадъ предвидѣлъ.

Черезъ сколько времени,—не помню и самъ,—должно быть, однако, скоро, ко мнѣ вошли опять, и одинъ изъ присяжныхъ положилъ на кровать цѣлую охапку какихъ-то вещей.

«Надо возвратитъ халатъ и туфли. Тутъ все есть», сказалъ Домашневъ, указывая рукой на кровать.

Меня мучила жажда, а такъ какъ время было такое, когда въ тюрьмахъ раздаютъ ужинъ, то я сказалъ, чтобы мнѣ принесли кипятку, а чай и сахаръ взяли въ моихъ вещахъ.

«Ужинать дадутъ сейчасъ, а чай—это завтра. Здѣсь такой порядокъ, что все завтра. Завтра все узнается».

Съ этими словами Домашневъ повернулся и вышелъ въ сопровожденіи своихъ архаровцевъ. Одинъ изъ нихъ, остановившись въ дверяхъ, грубо крикнулъ мнѣ: «Лампу не тушить!» И дверь захлопнулась.

Оставшись одинъ, я сталъ разбирать ворохъ, лежавшій на кровати. Бѣлье было ужасное, чуть не изъ мѣлечнаго холста, въ которомъ вдобавокъ всюду торчала кострица; затѣмъ, шерстяныя зимнія портянки, громадные коты, подбитые гвоз-

дями, сѣрая арестантская куртка и сѣрые же невыразимые, очень оригинальнаго покроя, наминавшія мнѣ мексиканскіе «кальцонеро», съ тою только разницею, что разрѣзъ былъ не снаружки, а свнутри, начинаясь вершковъ на 5 выше колѣна и не доходя на такое же, приблизительно, разстояніе до конца. Этотъ разрѣзъ былъ сдѣланъ съ тою цѣлю, чтобы черезъ него можно было бы пропускать цѣпь отъ кандаловъ, надѣтыхъ подъ брюки. Послѣ я уже нигдѣ не видѣлъ подобныхъ невыразимыхъ; должно быть начальство пришло, наконецъ, къ убѣжденію, что подобный покрой нелѣпъ въ высшей степени.

Одѣвшись я почувствовалъ себя ужасно. То, что я изъ изящнаго молодого человѣка, одѣтаго въ хорошо сшитую черную пару, превратился въ какое-то чучело, которое могло бы съ успѣхомъ играть роль вороньяго пугала,—было бы съ полбѣды, но чистая бѣда было въ томъ, что бѣлье не стиранное, а потому крайне жесткое, терло мнѣ тѣло и немилосердно кололо его кострикой; коты кололи мнѣ пятку гвоздями, прошедшими сквозь стельку; портянки, плохо завязанныя веревочками отъ котовъ, сваливались съ ногъ; въ куртку могло помѣститься два такихъ человѣка, какъ я, и она висѣла, не облегая тѣла, словно мѣшокъ, а у штановъ не оказалось верхней пуговицы. такъ что я ихъ никакъ не могъ приспособить къ употребленію и ходить приходилось, поддерживая ихъ рукой. На проклятомъ разрѣзѣ хоть и было три пуговицы (грубо обрѣзанные кусочки толстой кожи), но штаны были мнѣ не по росту, сидѣли плохо и въ эти разрѣзы свободно проникалъ холодный воздухъ. Я сдѣлалъ попытку походить, но это оказалось невозможнымъ. Я опять сѣлъ на кровать, задумался было кое о чемъ, но отворилась дверная форточка и присяжный крикнулъ: «Ужинъ»! Я подошелъ, взялъ ломоть чернаго хлѣба, оловянную ложку и миску съ какимъ-то хлебовомъ. При этомъ я отдалъ свои брюки, а дежурный спросилъ меня, не надо-ли горячей воды? Я отвѣтилъ: «пожалуй» — хотя, собственно говоря, самъ не зналъ. на что мнѣ эта вода, если нѣтъ чаю. Мнѣ подали желѣзную кружку, но не съ горячей, а теплой водой, которою добрые люди полощатъ ротъ послѣ обѣда. Пить такую воду можно было только желая вызвать рвоту, а такого желанія у меня не было. Послѣ я узналъ отъ другихъ товарищей, которымъ пришлось сидѣть въ Трубецкомъ на каторжномъ положеніи, что этотъ кипятокъ представляетъ изъ себя проявленіе гуманности

какого-то начальства и дается въ первые дни, чтобы сдѣлать для людей, привыкшихъ къ чаю и лишенныхъ его въ силу инструкціи, менѣе рѣзкимъ такой крутой переходъ.

Поставивъ миску на столъ, я поворошилъ въ ней ложкой. не попробовавъ и убѣдился, что въ ней находилась соленая вода. заправленная двумя-тремя десятками горошинъ. Это блюдо мнѣ показалось болѣе оригинальнымъ, чѣмъ вкуснымъ, но я проголодался, мнѣ было очень холодно, а хлебово было все-таки горячее, а потому я послѣдовалъ совѣту апостола Павла: предлагаемое—ядите. Едва я успѣлъ выхлебать свою порцію, какъ открылась форточка и присяжный потребовалъ посуду. Оказалось, что ее нельзя держать въ камерѣ, а нужно сдавать послѣ каждой ѣды. Кружку, однако, мнѣ оставили.

Полужинавъ я нѣсколько отогрѣлся и прилегъ на кровать. накрывшись все же, ибо было очень холодно, жалкимъ суконнымъ одѣяломъ. Черезъ полчаса вошелъ присяжный съ невыразимыми, которыя я далъ ему, чтобы пришить пуговицу. Остановившись на порогѣ, онъ бросилъ ихъ съ такою мѣткостью. что они попали бы мнѣ въ лицо, если бы я ихъ не поймалъ на лету. Послѣ этого я рѣшилъ никогда и ни о чемъ не просить тюремщиковъ, хотя бы мнѣ что-нибудь нужно было.

Теперь, когда, какъ ни какъ, мой туалетъ былъ въ относительно порядкѣ, я прошелся нѣсколько разъ по камерѣ осмотрѣлъ ее. Длинною она была, помнится. шаговъ 8-9 и очень высока. Я только концами пальцевъ могъ достать до края косяго подоконника, самое-же окно было на высотѣ не менѣе. если не болѣе, сажени и давало, какъ я въ этомъ убѣдился на слѣдующій день, очень мало свѣта, такъ какъ, хотя стекла и не были матовыя, но стѣны бастіона были на очень небольшомъ разстояніи отъ окна, въ которое никогда не могъ проникнуть ни одинъ солнечный лучъ. Даже во второмъ этажѣ. куда меня перевели на третій день, окна были значительно ниже валаганга, такъ что и тамъ было темновато, особенно въ это время года. Мебель состояла изъ желѣзной кровати, прикованной изголовьемъ къ стѣнѣ. Ножки этой кровати были вдѣланы въ асфальтовый полъ; передъ ней было нѣчто вродѣ стола, роль котораго игралъ желѣзный листъ въ осьмушку дюйма толщиною, вдѣланный въ стѣну у изголовья кровати. Этотъ столъ опирался на 2 желѣзныя полосы, одинъ конецъ которыхъ вдѣланъ наглухо въ стѣну, а другой приклепанъ къ

нижней поверхности стола. Кромѣ этого, было только два предмета: съ правой, отъ входа, стороны двери—кранъ, а подъ нимъ раковина, съ лѣвой—неудобноназываемое учрежденіе съ ведромъ, тоже прикованное къ стѣнѣ. Такимъ образомъ, во всей камерѣ не было ни одного предмета, который можно было бы передвинуть съ одного мѣста на другое. А потому забраться на окно не было никакой возможности, да изъ него я не увидѣлъ бы ничего интереснаго. Въ камерѣ была страшная грязь, сырость, капли воды, сбѣгавшія съ подоконника, образовали къ утру цѣлую лужу. Ходя по камерѣ, я замѣтилъ, что задвижка, закрывающая узкую щель, такъ, въ большой палецъ шириной и вершка 4 въ длину, прорѣзанную поперекъ двери надъ форточкой, открыта, и я принялся наблюдать за корридормъ. Въ первый разъ я счелъ это случайностью, но потомъ оказалось, что въ это время въ тюрьмѣ установился обычай оставлять дверную щель открытой всю ночь до утра. Въ 83 г., какъ я узналъ потомъ, это сочли неудобнымъ и заслонку держали всегда задвинутой.

Такъ какъ я находился прямо противъ колѣна, которое дѣлаетъ корридоръ у площадки, то мнѣ было видно значительное пространство и направо и налѣво, но на этотъ разъ ничего особеннаго я не замѣтилъ. Виденъ былъ только часовой съ берданкой въ рукахъ, осторожно ступавшій по половику, посланному посрединѣ корридоровъ. Нужно замѣтить, что эти часовые не имѣли права подходить къ дверямъ и заглядывать въ «глазокъ». Въ сущности, они были совершенно излишни и сохраняли ихъ только по традиціи. На самомъ поворотѣ корридора, какъ разъ противъ моей двери, стоялъ столъ, за которымъ, обыкновенно, коротали ночное время дежурные присяжные, попивая чай и куря папиросы. Когда я, походивъ еще по камерѣ, подошелъ снова къ двери, то увидѣлъ за столомъ двухъ присяжныхъ. Передъ ними стояли чайники и кружки, а въ сторонѣ лежала завернутая въ бумагу копченая селедка и хлѣбъ. Одинъ присяжный читалъ газету, — вотъ завидно мнѣ стало!—а другой, вынувъ изъ кармана ножъ, сталъ рѣзать селедку. Первый, сидѣвшій ко мнѣ спиной, держалъ въ зубахъ мундштукъ съ папиросой и, когда онъ выпустилъ клубъ табачнаго дыма, у меня засосало подъ ложечкой и я подумалъ, что хорошо бы и мнѣ теперь покурить, но увы!—мои папиросы исчезли вмѣстѣ съ сюртукомъ и по всему было замѣтно, что

здѣсь не покуришь.... Чтобы не мучить себя соблазнительнымъ зрѣлищемъ дымящейся папиросы, я отошелъ отъ дѣверъ и, ухитрившись подложить портянки такъ, чтобы гвозди не очень ужъ кололи, сталъ опять ходить изъ угла въ уголъ. Желаніе покурить быстро прошло, однако. Вообще нужно сказать, что первые 5-6 дней, благодаря тому нервному напряженію, въ которомъ я находился, отсутствіе табака меня не такъ ужъ мучило. Но когда я нѣсколько поуспокоился, чувство неудовлетворенности возобновилось съ новой силой. Я испытывалъ тѣ страданія, которыя будутъ понятны всякому страстному курильщику, извѣдавшему на опытъ, что значитъ лишеніе табака. Потомъ все это мало-по-малу прошло, но долго еще, черезъ годъ съ лишнимъ, у меня иногда являлось послѣ обѣда какое-то неопредѣленное ощущеніе неудовлетворенности: какъ будто мнѣ чего-то не хватаетъ, а чего именно—я и самъ сразу опредѣлить не могу; потомъ вдругъ вспомнишь: ахъ, да,—покурить бы слѣдовало,—и улыбнешься....

Впечатлѣнія этого дня были очень сильны: я почувствовалъ себя утомленнымъ, а потому, часовъ въ 11, я завалился спать. Здѣсь можно было знать время, такъ какъ куранты Петропавловскаго собора выбиваютъ не только часъ, а даже каждую четверть часа. Легъ я, конечно, не раздѣваясь, такъ какъ было холодно, покрываломъ служило тоненькое шерстяное дырявое одѣяло, отъ котораго тепла было бы мало.

Такъ прошелъ первый день моей «каторжной» жизни.

III

Утромъ я проснулся, когда ко мнѣ вошли—жандармъ, остановившійся у двери, въ качествѣ наблюдателя, двое присяжныхъ и 2-3 солдата. Одинъ изъ нихъ убралъ лампу, другой вынесъ ведро, потомъ, не подмели, а скорѣе размазали грязь по полу мокрой шваброй. Одинъ присяжный, положивъ на столъ ломоть чернаго хлѣба, вышелъ сейчасъ же, а другой подаль мнѣ полотенце*). Я спалъ въ одеждѣ, а потому мнѣ оставалось только обернуть ноги портянками и всунуть ихъ въ коты. когда я пошелъ къ умывальнику. Этотъ присяжный еще не

*) Полотенце, оказалось, даютъ только на нѣсколько минутъ, чтобы вытереться, а потомъ отдаютъ до слѣдующаго утра.

вышелъ и сталъ у двери, наблюдая, совмѣстно съ жандармомъ, за солдатомъ, подметавшимъ полъ.

Я остановился передъ умывальникомъ и сталъ искать глазами мыла. Его не оказалось, и я спросилъ присяжнаго: «а мыло?» Тотъ только отрицательно качнулъ головой: не полагается, молъ, вашему брату такой роскоши. Что подѣлаешь? Пытаюсь умываться безъ мыла вплоть до перевода въ Шлиссельбургъ, т. е. годъ и 10 мѣсяцевъ...

Мнѣ налили кружку кипятку, которымъ я попробовалъ запивать свой завтракъ—хлѣбъ съ солью, но оказалось, что холодной водой вкуснѣе, и я пересталъ брать кипятокъ. Впрочемъ, присяжные наливали его мнѣ еще раза 2-3 безъ моей о томъ просьбы, а потомъ перестали.

Съ камерой я познакомился еще наканунѣ и въ ней не было ничего для меня новаго. Попробовалъ я по привычкѣ осмотрѣть стѣны, но было слишкомъ темно, чтобы можно было разобрать есть тамъ надписи, или нѣтъ. Позднѣе, передъ обѣдомъ, я нашелъ двѣ-три, но онѣ были такъ старательно затерты, что ничего нельзя было разобрать. Походивъ по камерѣ, я легъ на кровать и сталъ прислушиваться къ шагамъ, раздававшимся въ корридорѣ. Лѣстница, поднимавшаяся во второй этажъ, была близко отъ моего номера, и я замѣтилъ, что это водятъ на прогулку. Ухо стало скоро различать мягкую женскую поступь и тяжелые, крупные мужскіе шаги. Изъ своихъ наблюдений я заключилъ, что здѣсь сидитъ много народа и прогулка продолжается недолго, такъ минутъ 10-15. Оба эти вывода впоследствии подтвердились; ко мнѣ, однако, никто не заходилъ и на прогулку не взяли. Все время моего пребыванія въ Трубецкомъ,—двѣ съ половиною недѣли, я просидѣлъ безъ гулянья.

Незадолго передъ обѣдомъ ко мнѣ вошелъ рыжеватый блондинъ лѣтъ 40 на видъ, въ армейскомъ пѣхотномъ мундирѣ, съ маіорскими погонами,—это былъ смотритель тюрьмы Лѣсникъ*); подавая мнѣ сложенный вдвое листъ бумаги, который онъ держалъ въ рукахъ, и смотря не въ лицо мнѣ, а куда-то вбокъ, онъ сказалъ мнѣ:

*) Тогда эта тюрьма, подчиненная Комендантскому Управленію крѣпости, была въ вѣдѣніи военныхъ властей, почему смотритель былъ не жандармъ, а армейскій офицеръ. Присяжные были изъ отставныхъ гвардейскихъ унтеровъ.

«Всякій поступающій сюда, долженъ ознакомиться съ этими правилами, а послѣ передать ихъ дежурному унтеръ-офицеру», и сейчасъ-же вышелъ.

Я взялъ эту бумагу, озаглавленную: «правила временнаго пребыванія въ Трубецкомъ бастионѣ Петропавловской крѣпости лицъ, осужденныхъ въ каторжныя работы за государственныя преступленія», — прочелъ ее... «и духомъ возмущился:—зачѣмъ только читать учился!» Правила эти гласили слѣдующее: въ Трубецкомъ оставляются тѣ политическіе каторжники, которые по закону должны итти въ Централку, т. е. холостые мужчины*). Въ силу этого обстоятельства, прежде всего, они остаются здѣсь не болѣе, какъ на четверть срока, къ которому приговорены. Затѣмъ объявляется, что условія содержанія и довольствія этихъ каторжныхъ таковы же, какъ и въ центральныхъ тюрьмахъ. Воспрещаются: переписка, свиданія, куреніе табаку, чтеніе книгъ, расходование собственныхъ денегъ. Разрѣшается же только *«выводить на прогулку при непремѣнномъ условіи соблюденія строимой одиночности заключенныхъ и невозможности сношеній съ другими арестованными»* (подлинныя слова). Далѣе слѣдовало подробное перечисленіе каторжнаго гардероба: «рубяхъ въ годъ 3 пары.... коты, подбитые гвоздями, на 6 мѣсяцевъ... Шапка сермяжнаго сукна—1, армякъ сермяжнаго сукна—1» и т. д. Затѣмъ шло перечисленіе дисциплинарныхъ взысканій: карцеръ, лишеніе прогулки, содержаніе въ оковахъ, содержаніе на хлѣбѣ и водѣ, въ концѣ же сообщалось, что за преступленія арестанты передаются военному суду, что они могутъ быть подвергнуты тѣлесному наказанію «шпицрутенами до 4000, розгами до 500 ударовъ». Я еще разъ перечиталъ этотъ перлъ бюрократической злобы и въ раздумьи положилъ его на столъ.

Да,—подумалъ я,—при такихъ условіяхъ отбирать у заключенныхъ полотенце — вещь, дѣйствительно, разумная. По прочтеніи этихъ правилъ, у каждого явится желаніе осмотрѣть повнимательнѣе стѣну: можетъ быть, тамъ есть какой гвоздикъ,

*) Въ это время въ Трубецкомъ сидѣли на каторжномъ положеніи 2 женщины: Лебедева и Якімова, приговоренныя 9 февр. 82 г., по дѣлу 20 народовольцевъ (Сухановъ, Фроленко, Тригони, Морозовъ и др.) къ повѣшенію. Казнь была замѣнена имъ безсрочной каторгой. Интересно бы знать показывали-ли и имъ эту бумагу и чѣмъ объясняли противозаконное содержаніе. Впрочемъ, «по нуждѣ и закону премѣна бываетъ»...

куда можно приладить петлю. Скоро отворилась форточка и присяжный спросилъ обратно эти «правила», а потомъ мнѣ далъ обѣдъ, но при мысли о шпицрутенахъ и розгахъ у меня кусокъ становился поперекъ горла, и я не въ силахъ былъ ѣсть. Вплоть до самаго вечера метался я, какъ дикій звѣрь въ клѣткѣ...

Теперь, казалось, мнѣ выяснился весь ужасъ моего положенія, теперь я понялъ, что значитъ носить званіе «ссылно-каторжнаго перваго разряда». Я — существо безправное; меня можетъ безнаказанно оскорблять, истязать, свести съ ума, свести въ могилу какой-нибудь тупой бурбонъ, какой-нибудь сыщикъ и палачъ. Теперь я рискую услышать: «ты каторжный, ты лишенъ правъ, тебѣ можно всыпать 4000 шпицрутенонъ или 500 розогъ.... Ужасно, ужасно! При мысли о *поркѣ* у меня морозъ пробѣгалъ по кожѣ; все можно вынести, со всѣмъ примириться, но не съ этимъ позоромъ, послѣ котораго остается одно только — умереть! Такъ не лучше-ли предупредить все это самому добровольно и не будучи вынужденнымъ къ этому необходимостью? Потомъ я сталъ, однако, приходить въ себя. Впервыхъ, порки мнѣ еще никакой не предстоитъ, никто не собирается гнать меня завтра сквозь строй, да этого никогда и не будетъ,—этотъ § не болѣе, какъ трусливая и подлая угроза, которой начальство никогда не рѣшится привести въ исполненіе. Правительство помнитъ исторію съ Боголюбовымъ и выстрѣлъ Засуличъ. Оно убѣдилось тогда, какъ дорого стоитъ такое удовольствіе; послѣ дѣла Засуличъ появился секретный циркуляръ мин. вн. дѣлъ, которымъ предписывалось отнюдь не примѣнять тѣлеснаго наказанія къ политическимъ арестантамъ. И, дѣйствительно, его никогда, пока я былъ на волѣ, не примѣняли, хотя и были даже случаи судебного приговора къ тѣлесному наказанію (къ каторжанамъ за побѣги), но, напр., никто изъ 8 каторжанъ (Волошенко и др.), бѣжавшихъ на пути въ Карійскую тюрьму изъ иркутскаго острога и пойманныхъ, не былъ поротъ, хотя ихъ и приговорили къ плетямъ; да и не одинъ этотъ случай, не мало ихъ было.

Затѣмъ, я готовился къ жертвамъ, лишеніямъ, страданіямъ; я говорилъ, что они необходимы, что ихъ требуетъ исторія, что правительство должно покрыть себя позоромъ, чтобы возбудить къ себѣ отвращеніе всѣхъ честныхъ людей,—а какъ пришлось попробовать, да еще только попробовать, а не испытать на самомъ дѣлѣ, всѣхъ этихъ страданій и униженій, такъ

на второй же день занялъ. Чертъ знаетъ, что за малодушіе! Къ тому же, развѣ моя жизнь принадлежитъ мнѣ одному? Неужели мои слова, что я живу для дѣла, были пустой фразой? Затѣмъ, вѣдь я только «временно» оставленъ, значитъ—до весны, до начала этапнаго движенія въ Сибирь. Четверть срока—это ерунда, по всей вѣроятности; пока еще никого такъ долго не держали здѣсь, а или переводили въ Алексѣевскій, очень скоро послѣ суда, или же черезъ полгода, годъ съ небольшимъ, увозили въ Сибирь. Я молодъ, здоровъ, и стыдно было бы не вынести 6-7 мѣсяцевъ заключенія, хотя-бы одиночнаго, безъ книгъ, безъ сношеній съ людьми, на такой скверной пищѣ, которую даютъ здѣсь...

Вечеромъ все у меня улеглось, я почувствовалъ себя бодрымъ и вѣрующимъ въ лучшее будущее. За ужиномъ мнѣ дали евангеліе, и я сталъ съ увлеченіемъ читать эту чудную книгу, единственную, которая могла быть въ моемъ распоряженіи. Я до сихъ поръ помню, съ какимъ волненіемъ я прочелъ слова: «такъ же гнали пророковъ, бывшихъ раньше васъ».

Въ теченіе перваго дня я былъ такъ потрясенъ, что мнѣ не до стуковъ было, но на второй день я сдѣлалъ попытку вызвать единственнаго моего возможнаго сосѣда въ № 45, находившемся какъ разъ надъ моимъ №, но отвѣта не получилъ. Нѣсколько разъ прикладывая ухо къ стѣнѣ, я убѣдился, что этотъ № пустъ. На слѣдующій день мнѣ показалось, что тамъ хлопали дверью. Я приложилъ ухо къ стѣнѣ и услышалъ чьи-то шаги. Сердце взволнованно забилося, когда я подумалъ, что у меня будетъ товарищъ по несчастью, съ которымъ можно будетъ отвести душу, и я сейчасъ же простучалъ: «кто вы?» Но отвѣта не было, и я подумалъ, что человѣкъ, за которымъ только что захлопнулась тюремная дверь, можетъ находиться въ такихъ растрепанныхъ чувствахъ, что ему не до стука, при томъ дообѣденное время очень оживленное: тутъ и гулять водятъ, тутъ и на допросы таскаютъ, и смотритель часто приходитъ, такъ что неудобно теперь и разговаривать. Я рѣшилъ отложить знакомство до болѣе поздняго времени, но черезъ часъ пришелъ ко мнѣ Лѣсникъ и буркнувъ: «пожалуйте!»—повелъ меня во второй этажъ и, введя въ № 55, молча заперъ тамъ. Этотъ № былъ такой же угловой, изолированный. Очевидно было, что мнѣ не хотѣли дать возможности перестукиваться съ товарищемъ, посаженнымъ въ № 45. Все остальное время мо-

его пребыванія въ Трубецкомъ, №, находившіяся подо мной, былъ пустъ, и я находился, дѣйствительно, въ одиночномъ заключеніи.

Всѣ номера Трубецкого одинаковы, и въ своемъ новомъ жилищѣ я нашелъ только ту разницу, что здѣсь было гораздо суше и нѣсколько свѣтлѣе, чѣмъ въ № 9. Тамъ можно было читать только вечеромъ при лампѣ, здѣсь же часовъ съ 11 до часу, даже до половины второго, было относительно свѣтло и не казалось, какъ прежде, что я сижу на днѣ темнаго и сырого колодца. Дня черезъ два монотонность моей жизни была прервана событіемъ, отъ воспоминанія о которомъ меня передергиваетъ: послѣ обѣда, когда я спалъ крѣпкимъ сномъ, меня разбудилъ присяжный: «вамъ надо постричься»,—сказалъ онъ весьма вѣжливымъ тономъ. Я изумился. Что это значитъ? Вѣдь я никому не говорилъ, что хочу стричься. Неужели здѣсь завели такой порядокъ, что всѣхъ обязательно стригутъ, какъ въ бурсахъ стараго времени всѣхъ сѣкли по субботамъ,—подумалъ я спросонья. Вставши съ постели, я увидѣлъ, что посреди комнаты поставили стулъ. Около него присяжный съ салфеткой въ рукахъ, а сзади цѣлая орава, человекъ 5-6. Я опустился на стулъ, присяжный повязалъ мнѣ салфетку, а двое стали у меня по бокамъ, вплотную, уставивъ глаза на мои руки, сложенные на колѣняхъ. Присяжный запустилъ въ волосы гребенку, стригнулъ,—и я вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, почувствовавъ прикосновеніе холоднаго желѣза. Сразу было видно, что стригутъ наголо. Я дѣлалъ надъ собой большія усилія, чтобы казаться равнодушнымъ и спокойнымъ, но это было мнѣ трудно. Я боялся, чтобъ эти скоты не уловили выраженія боли и волненія въ моихъ глазахъ, а потому закрылъ ихъ.

Сколько времени продолжалась эта пытка—не знаю. Конечно, весьма не долго, но каждая минута казалась мнѣ вѣкомъ, и всякій разъ, когда ножницы касались кожи, по тѣлу точно электрическій токъ пробѣгалъ, и сердце болѣзненно сжималось. Значить, я еще не испилъ всей чаши униженія, думалось мнѣ,—что-то предстоитъ затѣмъ?—будутъ брить?—закуютъ?—что тогда?—только скорѣй, скорѣй!

Конечно я зналъ, рѣшаясь на борьбу съ правительствомъ, что за это по головкѣ меня не погладятъ; нельзя же думать, что государственный и общественный строй, созданный вѣковой работой исторіи, окажется лишеннымъ чувства самосохраненія,

что онъ уступить натиску своихъ враговъ безъ борьбы, что онъ не будетъ давить и истреблять, — но есть вещи, которыя вовсе не являются неизбѣжнымъ результатомъ борьбы, даже борьбы на жизнь и на смерть. Понятно, что врага убиваютъ, казнятъ, что его лишаютъ возможности вредить, запираютъ въ тюрьму или ссылаютъ. Все это вещи вполне естественныя, которыхъ нужно ждать, къ которымъ нужно быть готовымъ. Смертный приговоръ, вполне мною заслуженный, не могъ меня возмущать, но то, что не имѣетъ никакого другого смысла, кромѣ издѣательства надъ плѣннымъ врагомъ, подлаго, низкаго надругательства, — возмущаетъ меня до глубины души; какой смыслъ уродовать челоуѣка, сидящаго за семью стѣнами, подъ семью запорами, подъ бдительнымъ надзоромъ? Побѣгъ здѣсь немислимъ, а еслибы и былъ возможенъ, то при такихъ условіяхъ въ которыхъ бритая голова не будетъ имѣть никакого значенія...

А ножницы все лязгаютъ, и каждый разъ съ головы скатывается новая прядь моихъ «буйныхъ кудрей». Наконецъ, ножницы шелкнули въ послѣдній разъ, присяжный отошелъ въ сторону, точно желая полюбоваться образцомъ своего парикмахерскаго искусства, и сказалъ: «ну, готово!» Я еще не вполне пришелъ въ себя и продолжалъ сидѣть въ какомъ-то оцѣпенѣніи, пока присяжный не снялъ съ моей шеи салфетку, а кто-то сзади потянулъ изъ-подъ меня стулъ. Я всталъ и остановился, какъ вкопанный. За моей спиной хлопнула дверь, я остался одинъ, но все-таки не сразу могъ притти въ себя и двинуться съ мѣста. Наконецъ, я рѣшился провести рукой по головѣ, и она встрѣтила едва возвышающуюся надъ кожей жесткую колючку. Я пошелъ было, но тотчасъ-же остановился: голову охватилъ какой-то порывъ холоднаго вѣтра. Конечно, кожа, привыкшая быть подъ покровомъ густыхъ волосъ, не могла освоиться сразу съ непосредственнымъ прикосновеніемъ воздуха. и первое время мнѣ было очень непріятно. Брить меня, какъ я этого ожидалъ, не стали, да и надобности въ этомъ не было: такъ чисто обобланили мою «побѣдную головушку». Какъ я себя чувствовалъ тогда, всякій легко можетъ себѣ представить.

Долго я чувствовалъ себя униженнымъ, долго меня угнетало сознаніе моего позора, но я вспомнилъ потомъ, что не я одинъ испыталъ это. Много людей, — да такихъ людей, ремня отъ сандалій которыхъ я недостойнъ развязать, — пили ту же горькую чашу, испытывали даже больше того, чему подвер-

гался я, и все выносили съ твердостью; да и теперь, сколько дорогихъ, горячо любимыхъ товарищей сидятъ въ Алексѣевскомъ равелинѣ, даже тутъ, выше меня, и терпятъ, и ждутъ лучшаго будущаго, и вѣрятъ, что ихъ страданія не безплодны, что ими наполняется та чаша гнѣва, которая когда-нибудь перельется черезъ край,—и тогда дремлющая нынѣ общественная совѣсть проснется и скажетъ деспотизму: «довольно! исчезни, унося наши проклятія, уступи мѣсто свободѣ и свѣту!»

Вспоминая тѣхъ, кто погибъ раньше, я глубоко растрогался и второй разъ, въ теченіе первой-же недѣли, меньше даже, чѣмъ недѣли, укорилъ себя въ малодушіи за то, что такіе, въ сущности, пустяки, могутъ такъ глубоко волновать меня, вызывать такую душевную боль; мнѣ, «оставленному временно»,—я все еще былъ такъ наивенъ, что не думалъ объ Алексѣевскомъ равелинѣ,—стыдно такъ нервничать. Придетъ весна и меня повезутъ въ Сибирь, а тамъ... и воображеніе рисовало мнѣ картину побѣга, возвращенія и жизни въ борьбѣ, встрѣчи съ дорогими и любимыми людьми. Словомъ, я въ концѣ концовъ перешелъ въ другую крайность, что и соответствовало моей крайне впечатлительной и порывистой натурѣ.

Взволнованный всѣми мечтаніями и воспоминаніями, я долго, до глубокаго вечера ходилъ изъ угла въ уголъ. Кстати: у меня какъ-то бессознательно сложилась привычка переводить душевное волненіе въ механическую работу мускуловъ, и я думаю, что этому я болѣе всего обязанъ, что не сошелъ совершенно съ ума, хотя въ Алексѣевскомъ равелинѣ и былъ близокъ къ этому несчастью. Говорю «совершенно» потому, что «немножко»-то — было... Эта ходьба, иногда часовъ по 10 въ день, давала мнѣ здоровое физическое упражненіе, утомляла меня, способствовала хорошему сну. Если я думалъ болѣе или менѣе спокойно и о чемъ-нибудь, если и не радостномъ, то, по крайней мѣрѣ, не вызывающемъ раздраженія, то я ходилъ ровнымъ, мѣрнымъ шагомъ; по мѣрѣ же моего возбужденія, измѣнялся и темпъ походки, находившейся въ такомъ соответствіи съ ходомъ мыслей и настроенія, что впоследствии мои сосѣди опредѣляли его по моей походкѣ. Въ тѣ минуты, когда меня охватывала злоба, бѣшенство и тому подобныя мало похвалныя чувства, я метался, какъ дикій звѣрь, и черезъ часъ, полтора доходилъ до такого состоянія, что, задыхаясь, еле держась на ногахъ, съ кружащейся головой, я бросался совершенно

очумѣлый на кровать и долго лежалъ, тяжело дыша, съ закрытыми глазами, обезсиленный до того, что иногда не сразу могъ протянуть руку къ стоявшей на столѣ кружкѣ съ водой, хотѣ и томила жажда.

Да, эта стрижка была послѣднимъ сильнымъ ощущеніемъ, которое я испыталъ въ теченіе моего кратковременнаго пребыванія въ Трубецкомъ. Жизнь шла разъ навсегда установленнымъ монотоннымъ порядкомъ, и я ею не тяготился; я даже началъ входить во вкусъ моего одиночества; я былъ даже доволенъ, что меня не водятъ ни на прогулку, ни въ баню. Мысль о томъ, что я пойду по корридору, подъ перекрестнымъ огнемъ наглыхъ взглядовъ жандармовъ и присяжныхъ, что я могу встрѣтиться съ какимъ-нибудь начальствомъ, — была для меня просто ужасна. Возможность услышать «ты», увидѣть злобно-торжествующее выраженіе въ глазахъ какого-нибудь скота, который можетъ напомнить, что «ты каторжникъ, ты долженъ исполнять, что велятъ», который можетъ меня и въ карцеръ посадить, и выпоротъ... нѣтъ, избави богъ отъ встрѣчъ и разговоровъ съ начальствомъ. Это было для меня самое тяжелое среди прочихъ условій подневольной жизни.

Порой, особенно по вечерамъ, послѣ раздачи ужина, я чувствовалъ себя хорошо. Днемъ, когда я слышалъ въ корридорѣ топотъ шаговъ, хлопанье дверей, звонъ шпоръ по временамъ, — я морщился отъ мысли, что сейчасъ можетъ открыться дверь, и войдетъ ко мнѣ какая-нибудь кикимора. Это мѣшало мнѣ сосредоточиваться, свободно отдаваться теченію моихъ думъ и вызывать дорогія воспоминанія, которыми я сталъ теперь жить; отъ начальства-же мнѣ ничего не нужно, ни о чемъ не прошу, кромѣ того, чтобъ меня оставили въ покоѣ и не лѣзли ко мнѣ съ какими-бы то ни было разговорами.

Вечеромъ я свободенъ отъ всякихъ волненій и ожиданій. знаю, что до утра ко мнѣ никто не зайдетъ, — и тогда я не чувствовалъ себя одинокимъ, нѣтъ, отовсюду — изъ Якутской тайги и Женева, изъ студенческой квартиры на Петербургской сторонѣ и Карійской тюрьмы, наконецъ, изъ этихъ, окружающихъ меня гробовъ Петропавловской крѣпости, — отовсюду я слышу слова горячей любви, привѣта, участія. Милыя, дорогія лица обступаютъ меня толпой, и я чувствую, какъ сильна соединяющая насъ связь, которой не въ силахъ порвать всѣ тюремные запоры въ мірѣ. Я забывалъ, гдѣ я, что со мной.

Дѣйствительность покрывалась дымкой, а созданія мечты становились такъ живы, такъ реальны, что порой, выходя изъ состоянія экстаза, я боялся даже—не начало-ли это психическаго разстройства.

Не всегда, конечно, воспоминанія носили такой радостный характеръ. Были и тація минуты, когда вставало передо мной все мрачное, тяжелое, что было пережито въ теченіе моей недолгой жизни (мнѣ было всего 23 года). Мучительно было снова переживать всѣ жизненные невзгоды, неудачи, закончившіяся такимъ финаломъ, какъ мое злополучное предпріятіе, и картина за картиной оживала въ моемъ воображеніи и преслѣдовала меня, какъ мучительный кошмаръ. Помню, какъ однажды передо мной встала картина освобожденія Новицкаго такъ живо, что мнѣ послышался крикъ убитаго мною надзирателя, когда онъ, получивъ въ грудь вторую пулю, повалился на мостовую съ крикомъ: «ой, убили!...» Вообще-же я былъ болѣе спокоенъ, чѣмъ этого можно было ожидать. Ни выстриженная голова, ни сѣрая куртка нисколько меня уже не угнетали, и, запертый въ одиночномъ заключеніи, отрѣзанный отъ всего живого, я сознавалъ, что ни мысль мою, ни чувства не сковать никакою цѣпью всему корпусу жандармовъ.

Мнѣ приходило иногда въ голову, когда я мечталъ объ отправкѣ въ Сибирь, что меня могутъ и не увезти этой весной. Бывали случаи, что здѣсь держали людей по году и больше (напр., Веймарнъ, Михайловъ Адріанъ и др., осужденные весною 80 г., были отправлены въ Сибирь только лѣтомъ 81 г., а «именующій себя Сабуровымъ», такъ и умеръ въ Трубецкомъ). Можетъ быть, и меня захотятъ предварительно выдержать хорошенько, чтобъ побить спѣсь и заставить цѣнить такую милость, какъ переходъ на каторгу, столь высоко, чтобъ не было рѣшимости затѣвать побѣгъ и рисковать попасть снова и, можетъ быть, навсегда, въ какой-нибудь каменный мѣшокъ. Эта мысль меня нисколько не смущала. Ну, и пусть себѣ держать, сколько имъ угодно. Я еще молодъ, чувствую въ себѣ большой запасъ силъ и стану спокойно ждать той минуты, когда побѣда дѣла свободы распахнетъ для меня тюремныя двери, или-же, когда въ лампѣ моей жизни выгоритъ все масло, и она погаснетъ такъ же тихо и безвѣстно, какъ не разъ бывало въ этихъ стѣнахъ; но что-же изъ этого? Вѣдь это естественное завершеніе жизненнаго пути революціонера.

Внѣшняя сторона моей жизни проходила такъ: утромъ, часовъ въ семь, мнѣ приносили ломоть чернаго хлѣба, полотенце, которое затѣмъ отбирали, и подметали полъ. Въ 12 час. раздавали обѣдъ,—омерзительный, нужно сказать. Въ скоромные дни онъ состоялъ изъ шей или жиденъкаго маннаго супа, въ которомъ, по солдатской поговоркѣ, «крупинка за крупинкой гонялась съ дубинкой», гречневая каша въ весьма умѣренномъ количествѣ, а въ постные дни (среда и пятница)—изъ гороха или супа съ признаками снѣтковъ и каши съ постнымъ масломъ. Въ семь вечера давали ужинъ—остатки шей или супа, разбавленные въ изобиліи кипяткомъ. Appetitъ у меня былъ хорошій, и я порядочно таки голодалъ, за исключеніемъ 3-4 дней, когда на дежурствѣ бывали менѣе звѣроподобные присяжные, отдававшіе мнѣ хлѣбъ, который оставался у нихъ неразобраннѣмъ слѣдственными. Нужно замѣтить, что прежде въ Трубецкомъ отпускалось на каждаго арестанта 75 коп. въ день и, несмотря на безсовѣстное воровство смотрителей, заключеннымъ давали хорошій обѣдъ изъ трехъ блюдъ, но со второй половины 81 г. это было признано излишней роскошью. и стали давать всѣмъ—и слѣдственнымъ, и сидѣвшимъ на каторжномъ положеніи,—такую же пищу, какую получаютъ въ острогахъ уголовные арестанты. Для слѣдственныхъ это было еще ничего, такъ какъ они могли пользоваться собственными деньгами, но каторжанамъ было плохо.

Послѣ обѣда я спалъ, такъ что короткій ноябрьскій день кончался для меня сейчасъ же послѣ полудня. Мой день наполнялся хожденіемъ по камерѣ, а вечеромъ я сначала читалъ Евангеліе, потомъ размышлялъ о прочитанномъ, мечталъ, вспоминалъ прошлое и наблюдалъ въ дверную щель за тѣмъ, что дѣлалось въ корридорѣ. Помню, какъ однажды часовой, пользуясь тѣмъ, что присяжный запропастился куда-то, и, заинтересовавшись таинственнымъ арестантомъ, котораго его поставили караулить и въ то же время запретили на него смотрѣть. подошелъ на цыпочкахъ къ моей двери и, прижавъ глазъ къ стеклышку щели, долго разсматривалъ одного изъ тѣхъ «отчаянныхъ, что въ царя стрѣляютъ», какъ онъ, вѣроятно, мысленно меня называлъ. Это не только не доставило мнѣ никакого неудовольствія, но я даже нарочно сталъ посреди камеры, чтобъ онъ могъ лучше рассмотреть меня. Караулъ наряжался отъ всѣхъ гвардейскихъ полковъ, даже отъ гвардейскаго эки-

пажа; такимъ образомъ, среди гвардейскихъ солдатъ могло дѣлаться извѣстнымъ, въ какихъ условіяхъ содержатъ въ крѣпости политическихъ, а между тѣмъ, эти солдаты могутъ быть людьми всякаго рода, даже вполне своими людьми, но и помимо этого, ихъ рассказы могутъ дойти до какого-нибудь вольноопредѣляющагося, до офицера и, такимъ образомъ, эти свѣдѣнія могутъ распространяться въ публикѣ. Время отъ времени случалось, что по корридору торопливо пробѣжитъ присяжный, задвигая дверныя щели. Это значитъ, что сейчасъ приведутъ новаго заключеннаго и, дѣйствительно, вскорѣ послѣ этого раздаются среди вечерней тишины звуки шаговъ по корридору; потомъ иногда бывало слышно, какъ черезъ нѣсколько минутъ захлопывается дверь,—затѣмъ слышится обратное шествіе.

Однажды я видѣлъ прелюбопытную картину, вызвавшую у меня невольную улыбку. Послѣ того, какъ привели «новичка» и задвижку щели отодвинули снова, я увидѣлъ, что на столѣ въ корридорѣ лежатъ вещи вновь привезеннаго и присяжные ихъ обыскиваютъ*). Одинъ изъ нихъ перебиралъ пальцами круглую драповую шапку; другой, держа лѣвой рукой сапогъ, пробовалъ правой рукой каблукъ: можетъ быть, онъ сидитъ на винтѣ и тамъ вложена какая-нибудь конспирація; третій методически ощупываетъ подкладку теплаго пальто, разложеннаго передъ нимъ на столѣ, а четвертый благоую часть избралъ: предоставивъ своимъ коллегамъ продолжать тщетные поиски контрабанды, онъ перекладывалъ папиросы изъ черепаховаго портсигара, который на моихъ глазахъ былъ вынутъ изъ кармана пальто, въ свой собственный карманъ, а часовой, остановившійся среди корридора, смотритъ на эту сцену съ добродушной улыбкой русскаго человѣка, который съ большимъ удовольствіемъ видитъ, что дѣлается надлежащее употребленіе изъ плохо лежащаго добра. Эта картина навела меня на размышленія, и, видя потомъ, какъ присяжный или жандармъ вынимаетъ изъ кармана часы, я не разъ думалъ: а кому изъ товарищей эти часы принадлежатъ, и не видѣлъ ли я ихъ у кого раньше?

Такъ шель день за днемъ. Прошла недѣля, другая, а новаго ничего не было, только по субботамъ давали мнѣ чистое

*) Въ крѣпости и слѣдственные носятъ казенную одежду, свою же даютъ только надѣвать на прогулку, а послѣ опять отбираютъ.

бѣлье, такое же, какъ въ день моего прибытія—грубое и не мытое, ибо давали одну за другой тѣ три пары бѣлья, что полагались по инструкціи каждому арестанту на годъ. Я свыкъ съ этой жизнью настолько, что не желалъ ничего лучшаго, какъ пробыть въ этомъ номерѣ все время, которое мнѣ суждено провести въ крѣпости, но судьба рѣшила иначе и готовила мнѣ новую неожиданность въ ряду тѣхъ, которыя сыпались на меня въ изобиліи въ теченіе трехъ-четырехъ мѣсяцевъ моей жизни.

IV.

Въ ночь съ 16 на 17 ноября 1882 г. я спалъ крѣпкимъ сномъ, но вдругъ мнѣ показалось, что кто-то трогаетъ меня за плечо. Я инстинктивно повернулся на другой бокъ, чтобъ избавиться отъ прикосновенія неизвѣстной руки, но она продолжала меня теревить, и сквозь сонъ мнѣ разслышались какія-то слова. Я открылъ глаза и увидѣлъ наклонившагося надо мной Домашнева, который старался меня разбудить и говорилъ: «нужно вставать, вставайте!»

Я сѣлъ на кровать и замѣтилъ въ камерѣ еще присяжнаго, державшаго въ рукахъ арестантскій халатъ (армякъ). Еще полусонный, не будучи въ состояніи разобрать, въ чемъ дѣло, я началъ одѣваться и долго не могъ завернуть, какъ слѣдуетъ, портянки.

—«Да вы какъ-нибудь.... тутъ недалеко», замѣтилъ Домашневъ.

Тутъ придя въ сознаніе, я спросилъ себя: что сей сонъ означаетъ? Куда меня хотятъ отправить? Спрашивать Домашнева мнѣ не хотѣлось, противно было разговаривать, но казалось несомнѣннымъ, что если меня посадятъ въ карету,—значить, повезутъ на вокзалъ для отправки въ Москву и, слѣдовательно, рѣшили меня посадить въ какую-нибудь централку, ибо странно было бы, чтобъ меня привезли въ Питеръ на двѣ съ половиной недѣли, а потомъ повезли бы въ Бутырки; если же подадутъ тройку, значить, повезутъ въ Шлиссельбургъ. Лѣтомъ 82 года было уже извѣстно, что тамъ начали строить тюрьму для политическихъ каторжанъ и ремонтировали старую; былъ даже слухъ, что Нечаева перевели изъ Алексѣевского павелина въ Шлиссельбургскую крѣпость.

Туалетъ мой былъ весьма несложенъ, и я одѣлся очень быстро, хотя Домашневъ еще разъ замѣтилъ мнѣ: «какъ-нибудь, только поскорѣй!»

— А теперь уже утро? — спросилъ я. — «Утро, утро», отвѣтилъ Домашневъ.

— Ну, понятно, подумалъ я: хотятъ меня сплавить, пока еще не разсвѣло.

Присяжный подаль мнѣ сѣрый халатъ съ двумя тузами на спинѣ (въ мое время это служило знакомъ каторжника: поселенцамъ полагался одинъ тузъ), и мы вышли въ корридоръ, гдѣ не было ни одной души. Очевидно, часового временно убрали, чтобъ провести меня наиболѣе конспиративнымъ образомъ. Проходя мимо ряда камеръ, я мысленно прощался съ сидѣвшими тамъ и желалъ имъ лучшей доли, чѣмъ та, которая выпала на мою долю. Проходя мимо № 64, я увидѣлъ конецъ корридора и убѣдился, что всѣхъ номеровъ въ этомъ корридорѣ 72. Мы спустились въ нижній этажъ не по той лѣстницѣ, что шла близъ моего перваго номера (№ 9), а по старой, въ послѣднемъ ко мнѣ корридорѣ 2-го этажа, и вышли въ садикъ для прогулки. находящійся на внутреннемъ дворѣ тюрьмы, такъ какъ меня не хотѣли вывести черезъ караульную комнату; пройдя черезъ этотъ садикъ, мы вошли въ какой-то пролетъ зданія тюрьмы, запертый двумя воротами, а изъ него въ знакомый уже мнѣ переулокъ, лежащій межъ Монетнымъ дворомъ и Трубецкимъ бастіономъ, невдалекѣ отъ крыльца тюрьмы; но Домашневъ пошелъ не направо, къ воротамъ, черезъ которыя я проѣзжалъ, а налево.

Сидя въ камерахъ, какъ-то не чувствовалось желанія выйти на прогулку, но теперь, жадно вдыхая свѣжій морозный воздухъ, я чувствовалъ положительное наслажденіе. Ночь была чудная, слегка морозная и тихая; звѣзды ярко горѣли на темномъ небѣ и, любуясь ими, я чувствовалъ то же самое волненіе, то же самое благоговѣніе передъ неразгаданными тайнами мірозданія, какое всегда охватывало меня при созерцаніи усѣяннаго звѣздами неба. Чистый и богатый озономъ зимній воздухъ дѣйствовалъ на меня опьяняющимъ образомъ, и такъ пріятно было слышать подъ ногами хрустѣніе свѣжаго, только что выпавшаго, снѣга; но это продолжалось недолго.

Пройдя небольшое разстояніе по переулку, Домашневъ свернулъ налево въ какія-то ворота, которыя вели въ пролетъ очень

длинный и очень темный. Очевидно, онъ шелъ подѣ зданіемъ примыкавшимъ къ крѣпостной стѣнѣ. На пути намъ попадались и справа и слѣва какіе-то подѣзды, какія-то ворота. Въ одномъ мѣстѣ на меня бросилась откуда-то собака. Домашневъ заслонилъ меня отъ нападенія и крикнулъ кому-то: «собаку что не запираешь?» Въ отвѣтъ послышался изъ тьмы кромѣшной тихій зовъ, которому собака повиновалась съ глухимъ ворчаніемъ. Поровнявшись съ мѣстомъ, откуда слышался этотъ зовъ, я увидѣлъ рѣшетчатые желѣзные ворота, а за ними дворъ, но ни человѣка, ни собаки не было уже видно. Потомъ тѣма сгустилась уже до того, что ничего нельзя было разобрать; мы шли уже сквозь толщу крѣпостной стѣны. Въ концѣ подворотни мы остановились и я, нѣсколько освоившись съ темнотой, увидѣлъ, что нахожусь въ нѣсколькихъ шагахъ отъ окованныхъ желѣзомъ воротъ. Въ этихъ воротахъ была калитка съ оконцемъ, сквозь стекло котораго проникалъ откуда-то слабый свѣтъ: благодаря ему, я могъ замѣтить какую-то закутанную въ шубу фигуру, стоявшую прислонясь спиной къ калиткѣ, но болѣе я ничего еще не могъ разобрать въ окружающей меня тѣмѣ; но вотъ изъ нея выдѣлились неясныя очертанія двухъ-трехъ человѣкъ, одинъ изъ которыхъ подошелъ къ Домашневу и, перешепнувшись съ нимъ нѣсколькими словами, обернулся ко мнѣ. Въ ту же минуту я почувствовалъ, что мои плечи зажаты въ лапахъ двухъ дюжихъ и рослыхъ жандармовъ, незамѣтнымъ образомъ очутившихся у меня за спиной.

Человѣкъ, говорившій съ Домашневымъ, подошелъ ко мнѣ и молча наклонился къ самому лицу, и я увидѣлъ, какъ бы въ рамкѣ воротника мѣховой шинели, отвратительную морду въ офицерской жандармской фуражкѣ, съ щетинистыми усами и бритымъ подбородкомъ. Закутанная фигура, стоявшая у калитки, распахнула ворота, и передо мной открылось поле, занесенное снѣгомъ, далѣе какой-то мостикъ съ горѣвшими на немъ двумя фонарями, а за нимъ—небольшой островокъ съ низкимъ одноэтажнымъ зданіемъ.

Жандармы подхватили меня и, почти неся на рукахъ, быстро, быстро поволокли по направленію къ этому мостику. Выйдя за ворота, я видѣлъ направо и налѣво стѣны крѣпости, уходявшія во тѣму, затѣмъ, далѣе, за полоской земли, окаймлявшей стѣны—темную, черную даже поверхность еще не замерзшей Невы, казавшейся, быть можетъ, болѣе темной, чѣмъ на

самомъ дѣлѣ, благодаря снѣгу, покрывавшему землю. Впереди былъ мостикъ, о которомъ я говорилъ, а за нимъ зданіе—Алексѣевского рavelина. Близъ мостика передо мной мелькнула, закрытая до сихъ поръ выступомъ Трубецкаго бастіона, набережная противоположнаго берега Невы или, лучше сказать, рядъ фонарей, тянувшихся огненнымъ пунктиромъ вдоль набережной: но мы идемъ быстро, жандармы тащатъ меня чуть не на рукахъ; огни исчезли, мы уже перешли черезъ мостикъ. Алексѣевскій рavelинъ совсѣмъ уже близко и мрачно смотритъ на меня темными окнами, напоминающими пустыя глазницы черепа: было замѣтно сразу, что стекла были матовыя.

Пройдя шаговъ 25—30 отъ крѣпости, мы остановились передъ воротами. Тутъ я послѣдній разъ обернулся: за нами шелъ тотъ жандармскій офицеръ въ мѣховой шинели, который такъ безцеремонно меня разсматривалъ, а вдали еще виднѣлись распахнутыя ворота крѣпости, въ которыхъ стояла кучка людей, наблюдавшихъ за нашимъ шествіемъ. Въ воротахъ Алексѣеваго рavelина была калитка съ оконцемъ, забраннымъ снаружи рѣшеткой изъ мѣдныхъ прутьевъ. Черезъ это оконце на насъ взглянуло усатое солдатское лицо. Калитка распахнулась, и меня ввели въ подворотню. Отворившій намъ калитку старшій унтеръ-офицеръ жандармскаго караула,—часового и здѣсь убрали, хотя онъ былъ жандармъ,—пошелъ впереди, минуя первое крылечко съ правой стороны, которое, какъ я убѣдился впоследствии, вело въ караульное помѣщеніе, повелъ насъ на второе. Я замѣтилъ, что напротивъ его, по лѣвой сторонѣ подворотни, было точно такое же крылечко съ двумя каменными ступеньками. Невдалекѣ отъ этихъ крылечекъ были другія ворота, точно такія же, какъ и наружныя, которыя вели въ садикъ, служившій мѣстомъ прогулки заключенныхъ.

Внутренность корридора, въ который мы вошли, поразила меня своей неприглядностью: не было ничего общаго со свѣтымъ, чистымъ и даже щегольскимъ видомъ корридора Трубецкаго бастіона. Этотъ корридоръ слабо освѣщался маленькой керосиновой лампой, поставленной на одномъ изъ оконъ, которыя были расположены по лѣвой стѣнѣ, выходившей въ садикъ. Окна были невелики и находились очень высоко, пожалуй даже выше средняго человѣческаго роста. Съ правой стороны шла сначала глухая стѣна, потомъ виднѣлась бѣлая дверь въ углубленіи стѣны, запертая засовомъ, а надъ ней дощечка съ над-

писью № 4. Дверь слѣдующаго номера, пятого, была открыта, и жандармы, все еще не выпускавшіе меня изъ рукъ, втащили меня туда такъ быстро, что я успѣлъ только бросить бѣглый взглядъ и замѣтить, что противъ моей камеры корридоръ поворачиваетъ подъ острымъ угломъ налѣво и что по его правой сторонѣ былъ расположенъ рядъ камеръ. Мнѣ удалось увидѣть только дверь № 6.

Какъ только жандармы выпустили меня изъ рукъ, жандармскій офицеръ, оказавшійся смотрителемъ Алексѣевского равелина, а впоследствии Шлиссельбургской тюрьмы, неудобозабываемый Матвѣй Ефимовичъ Соколовъ, обратился ко мнѣ со словами:

— «Первое дѣло — ни слова, ни полслова. Какъ тебя зовутъ, кто ты, — я этого не знаю и знать мнѣ нѣтъ надобности».

Я былъ убѣжденъ, что нахожусь въ Алексѣевскомъ равелинѣ, но все-таки спросилъ его: «а какъ называется эта тюрьма?»

— «Этого тебѣ знать нѣтъ надобности» отчеканилъ Иродъ (такую кличку онъ носилъ въ нашей средѣ). «Обыскать его!» — приказалъ онъ, обращаясь къ жандармамъ.

Я снова подвергся такому же тщательному и унижительному обыску, какъ и въ день моего прибытія въ крѣпость. Бывшее на мнѣ платье и бѣлье унесли и дали новое такого же качества. Когда я сталъ одѣваться, смотритель обратился ко мнѣ съ слѣдующимъ правоученіемъ:

— «Вести себя тихо и исполнять все, что я прикажу. Пѣть, свистѣть — запрещается. Лампу тушить нельзя. Смотрители звать ни въ какомъ случаѣ: я самъ здѣсь всегда бываю».

Соколовъ помолчалъ, и съ какимъ-то змѣинымъ шипѣніемъ добавилъ:

— «Вздорить со мной я тебѣ не совѣтовалъ бы!»

Глаза его злобно сверкнули, и онъ сдѣлалъ выразительное движеніе правой рукой, въ которой былъ зажатъ ключъ. Надо замѣтить, что онъ никогда не разставался съ ключемъ, такъ какъ всегда самолично запиралъ и отпиралъ камеры, не довѣряя такой важной служебной функціи своимъ унтерамъ. Я ничего не отвѣтилъ и продолжалъ одѣваться.

— «Ну, а теперь, спи!» — неожиданно сказалъ Иродъ, словно тронутый моимъ смиреннымъ молчаніемъ.

— «Развѣ теперь ночь еще?» — спросилъ я. — «Ночь, ночь» — отвѣтилъ Соколовъ и пошелъ изъ камеры, но вдругъ, вспом-

нивъ что-то недоговоренное, онъ остановился на порогѣ и, поднявъ чуть не выше головы свою десницу, вооруженную ключемъ, снова злобнымъ, угрожающимъ тономъ прошипѣлъ:

— «Стуковъ чтобъ не было никакихъ!».

Оставшись одинъ, я почему-то уставился на дверь, за которой исчезъ Иродъ, точно тамъ было что-то мнѣ еще незнакомое и весьма интересное, но вдругъ вздрогнулъ и, точно боясь, что дверь откроется, и я услышу этотъ голосъ, отчеканивающий: «смотри́ть въ дверь нѣтъ надобности»—одно изъ любимыхъ выраженій Соколова, какъ я замѣтилъ сразу, — отвернулся и сталъ жадно пить воду изъ стоявшей на столѣ глиняной кружки.

Трудно передать отталкивающее впечатлѣніе, какое производилъ Соколовъ. Это былъ мужчина высокаго роста, лѣтъ 45—50, очень плотный и широкоплечій, почему и казался ниже, чѣмъ былъ на самомъ дѣлѣ, съ фигурой и ухватками, напоминавшими не то мясника, не то гицеля. Его массивныя руки съ короткими и толстыми пальцами находились въ постоянномъ движеніи, и только эта чисто іудейская жестикуляція и выдавала его происхожденіе: онъ былъ выкрестъ—еврей, говоръ же его былъ чисто русскій, солдатскій. До-нельзя было противно его бритое мясистое лицо, съ толстыми губами, рыжеватыми щетинистыми усами, съ постояннымъ выраженіемъ тупого самодовольства или же злобы. Особенно противны были глаза, выпуклые, неопредѣленнаго цвѣта, «бутылочнаго съ искрой». Они напомнили мнѣ глаза крупныхъ пресмыкающихся съ застывшимъ въ нихъ выраженіемъ холодной, тупой жестокости. Наглый, жестокій, безчувственный, тупоумный и низкій, онъ служилъ безъ малѣйшихъ колебаній и угрызений совѣсти исполнителемъ самыхъ гнусныхъ приказаній вышшаго начальства. Во время крымской войны онъ былъ солдатомъ, и его взялъ къ себѣ въ деньщики Потаповъ (бывшій впослѣдствіи шефомъ корпуса жандармовъ), а потомъ Соколовъ пошелъ въ жандармы, но только въ 1870 г. онъ былъ произведенъ въ офицеры, благодаря протекціи своего бывшего барина. Однако, по своей неразвитости и малограмотности, употреблялся лишь на черную работу: возилъ арестантовъ на допросы, дежурилъ въ III отдѣленіи и присутствовалъ иногда на обыскахъ, такъ какъ у него не только были исполнительность и рвеніе, но и нѣкоторый шпионскій нюхъ; говорятъ, что будучи еще деньщи-

комъ, а потомъ жандармскимъ унтеромъ, онъ обнаружилъ таланты сыщика и доносчика, возбуждавшіе ненависть сослуживцевъ, которымъ онъ спуска не давалъ, но за то обратившіе на него вниманіе Потапова. Его товарищи, такіе же жандармскіе офицеры, относились къ нему брезгливо. Одинъ изъ нихъ, сопровождавшій въ Шлиссельбургъ моего товарища Н. П. Стародворскаго, отвѣтилъ на вопросъ, что за человѣкъ Соколовъ. — однимъ словомъ «скотина».

Не могу удержаться, чтобы не рассказать курьезный случай, не имѣющій связи съ моимъ рассказомъ, но весьма характерный. Во время допроса одного моего пріятеля, прокуроръ подаль ему какую-то записочку, находившуюся въ числѣ вещественныхъ доказательствъ. Сидѣвшій тутъ же жандармскій офицеръ безпокойно заерзалъ на стулѣ и, застывъ въ тревожной позѣ, спросилъ:

— «Надѣюсь, вы не порвете, не проглотите этой записки?»

— «Помилуйте, зачѣмъ мнѣ это?»—отвѣтилъ допрашиваемый, противъ котораго имѣлась масса тяжкихъ и доказанныхъ обвиненій.

— «Нѣтъ, знаете, это бываетъ! Вотъ, помню, былъ разъ такой случай: дали тоже одному господину записочку, а онъ ее въ ротъ... Офицеръ былъ молодой, неопытный, ну и растерялся, прокуроръ тоже не знаетъ, что дѣлать. Хорошо, что офицеръ вспомнилъ про Соколова,—онъ въ сосѣдней комнатѣ былъ,—да и позвалъ его. Тотъ выскочилъ за нимъ—и сразу видитъ въ чемъ дѣло, подскочилъ онъ къ этому господину, да какъ дастъ ему въ зашею, такъ записочка у него изо рта и вылетѣла».

— Ну что же, этотъ господинъ такъ и промолчалъ?

— «Нѣтъ, онъ въ амбицію вломился, претензію заявилъ, какъ смѣете такъ обращаться? А Соколовъ на это ему говоритъ: „по обстоятельствамъ дѣла требовалось“».

Когда около 1 января 82 г. были обнаружены сношенія съ Алексѣевскимъ равелиномъ, что произвело страшный переполохъ и вызвало большое раздраженіе въ высшихъ административныхъ сферахъ*), то стараго и вѣрнаго служаку вспом-

*) Вся команда (въ то время стражу составляла особая команда крѣпостной пѣхоты) и присяжные были распропагандированы Нечаевымъ и повиновались его распоряженіямъ до такой степени, что Нечаевъ считалъ возможнымъ при ихъ помощи арестовать Александра II, когда тотъ пріѣдетъ въ Петропавловскій соборъ!!! Сношенія начались въ ноябрѣ 80 г.,

нили и нашли его наиболее подходящимъ человекомъ для занятія должности смотрителя тюрьмы Алексѣевского равелина, такъ какъ бывший ранѣе смотритель и его помощникъ были не только прогнаны, но и переданы суду, который приговорилъ перваго къ разжалованію и ссылкѣ въ Архангельскую губернію, а втораго къ заключенію въ крѣпости на два, какъ мнѣ помнится, года. Подробности объ этомъ происшествіи и процессы Дубровина, который велъ сношенія съ солдатами, и этихъ самыхъ солдатъ, были, какъ мнѣ рассказывали, напечатаны въ революціонныхъ изданіяхъ того времени (1883 г.).

Итакъ, напившись воды и убѣдившись по звону шпоръ, что смотритель ушелъ и на сей разъ у насъ съ нимъ все уже кончено, я сталъ осматривать камеру съ тѣмъ большимъ любопытствомъ, что она представлялась мнѣ моимъ настоящимъ, постояннымъ жилищемъ, а не номеромъ гостиницы, какъ тѣ, въ которыхъ я сидѣлъ прежде. Первое, что меня поразило — это были стѣны. Мнѣ казалось, что онѣ аршина на полтора, начиная отъ пола, были обиты чернымъ бархатомъ, а выше выкрашены въ казенный блѣдно-бланжевый цвѣтъ. Для красоты подъ потолокъ шла красная полоса, въ видѣ бордюра. Я подошелъ къ стѣнѣ и увидѣлъ, что этотъ бархатъ былъ нечто иное, какъ черно-зеленоватая плѣсень, покрывавшая бархатнымъ ковромъ всю нижнюю часть стѣны; повыше она измѣняла цвѣтъ на блѣдно-розовый, далѣе же, на бѣлый и располагалась уже не такимъ толстымъ слоемъ. Окно было точно такого же фасона, какъ и въ III отдѣленіи, подоконникъ и рамы даже были окрашены такой же самой краской; это невольно наводило на мысль о родствѣ обоихъ учрежденій, тѣмъ болѣе, что въ двери было видно такое же четырехугольное отверстіе, какъ и въ камерѣ III отдѣленія, но задѣланное, и при томъ недавно. Это было замѣтно съ перваго взгляда; несомнѣнно, что Иродово измышленіе имѣло цѣлю въ большей степени гарантировать невозможность сношеній стражи съ заключенными. Объ этомъ говорили и совершенно свѣжіе словые бруски, которыми были обиты косяки и порогъ двери, дѣлая, такимъ образомъ, совер-

когда въ Алексѣевскій равелинъ посадили Степана Ширяева, которому повѣшеніе было замѣнено безсрочной каторгой (первый процессъ Народной Воли, октябрь и ноябрь 80 года). Раньше же, Нечаевъ, несмотря на полную готовность солдатъ, не зналъ, куда и къ кому можно послать.

шенно невозможнымъ просунуть записку въ щель между дверью и косякомъ или порогомъ. Стекла были матовыя, и на нихъ лежали черными полосами тѣни перекладинъ рѣшетки. Налѣво отъ входа весь уголъ наполняла огромная изразцовая печь, топившаяся изъ корридора; нѣсколько ближе къ двери — деревянное учрежденіе съ ведромъ. Въ разстояніи аршина полтора отъ лѣвой стѣны стояла деревянная кровать, покрытая ветхимъ одѣяломъ, старомоднаго рисунка, бывшее нѣкогда бѣлымъ съ красными полосками, но пожелтѣвшее отъ времени; это одѣяло, навѣрно, помнило нашихъ предшественниковъ 70-хъ годовъ, а, можетъ быть, и Бакунина. Постельное бѣлье представляло полный контрастъ съ носильнымъ; оно было вполне приличное, хоть и довольно почтеннаго возраста: на немъ стояло клеймо А. Р. 1864,—годъ введенія Судебныхъ Уставовъ, годъ, когда на всю Россію было провозглашено: «правда и милость да царствуютъ въ судахъ». У кровати стоялъ деревянный крашенный столъ, ящикъ изъ котораго былъ вынутъ, и такой же стулъ съ высокой спинкой. На столѣ стояла большая глиняная кружка съ водой, жестяная лампочка и коробка шведскихъ спичекъ. Когда я увидѣлъ спички, которыя считались бы въ Трубецкомъ ужаснѣйшей контрабандой, я сейчасъ же припряталъ нѣсколько штукъ, хотя и самъ не зналъ, на что онѣ могутъ мнѣ понадобиться, но таково уже влеченіе человѣческое ко всему запрещенному. Я тщательно разыскивалъ подходящее мѣсто для этой контрабанды, думая, что спички эти оставлены здѣсь по забывчивости, и былъ очень радъ, когда нашелъ удобное мѣсто — щелку въ спинкѣ кровати. Потомъ мнѣ стала смѣшной мысль, что здѣсь могутъ что-нибудь забыть, чего-нибудь не доглядѣть: такъ хорошо были выдрессированы наши церберы.

Чтобы избѣжать повтореній, скажу тутъ же, что служебный персоналъ состоялъ изъ смотрителя, четырехъ надзирателей, жандармскихъ унтеръ-офицеровъ, дежурившихъ попарно черезъ сутки. Одинъ изъ нихъ назывался дежурнымъ, другой подежурнымъ. Караулъ состоялъ изъ взвода жандармовъ, жившихъ въ казармѣ, которая находилась въ рavelинѣ (см. планъ). Часовые, стоявшіе въ корридорѣ, находились тамъ, собственно говоря, неизвѣстно зачѣмъ, ибо, какъ и въ Трубецкомъ, они не смѣли подходить къ дверямъ и заглядывать въ «глазокъ»; даже болѣе того,—когда заключеннаго выводили на прогулку, часовой долженъ былъ отходить отъ двери, чтобъ

не встрѣтятся съ нимъ, и становился, вдобавокъ, спиной. Такъ боялись тогда возможности какого-либо общенія стражи съ заключенными; унтера-надзиратели никогда не входили въ камеру безъ Соколова, не довѣрявшаго ключа никому изъ нихъ, да, кромѣ того, и самъ смотритель *не имѣлъ права* заходить къ арестанту и говорить съ нимъ съ глазу на глазъ.

Алексѣевскій равелинъ былъ ужаснымъ и таинственнымъ мѣстомъ заключенія, входя въ которое нужно было «оставить всякую надежду». Здѣсь человѣкъ терялъ свое имя, здѣсь не допускалось никакихъ сношеній—ни личныхъ, ни письменныхъ, даже съ самыми близкими родственниками: арестантъ умиралъ для всего міра. Здѣсь не было никакого закона, кромѣ монаршей воли, и тюрму эту посѣщали только царь, шефъ жандармовъ и комендантъ крѣпости (еще мин. вн. дѣлъ, когда онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и шефомъ). Съ другой стороны, до 82 г.,—когда, вслѣдствіе обнаруженія сношеній, былъ радикально измѣненъ весь обиходъ тюремной жизни,—здѣсь обращеніе было вѣжливое, кормили еще лучше, чѣмъ въ Трубецкомъ, была хорошая библіотека.

Кстати, одинъ изъ примѣровъ прони жизни: Лорисъ-Меликовъ, посѣтивъ Нечаева, распорядился отпустить 500 р. на покупку книгъ по его собственному выбору. Нечаевъ выписалъ тогда множество разныхъ «исторій революцій», а покупка этихъ книгъ была поручена столоначальнику департамента госуд. полиціи (въ авг. 80 г. III отдѣленіе было упразднено и замѣнено этимъ новымъ департаментомъ), Клѣточникову, который былъ арестованъ вскорѣ послѣ того (въ янв. 81 г.), затѣмъ былъ въ числѣ 11 человѣкъ, приговоренныхъ къ повѣшенію 9 февр. 83 г. (процессъ 20 народовольцевъ), а послѣ замѣны казни—безсрочной каторгой, его посадили въ Алексѣевскій равелинъ, гдѣ онъ и умеръ отъ цынги въ іюнѣ 83 года. Одинъ жандармскій офицеръ, разговаривая на допросѣ о Нечаевѣ и сношеніяхъ его съ Алексѣевскимъ равелиномъ, сказалъ: «и чего ему было нужно?—Обѣдъ получалъ съ комендантскаго стола (?), на прогулку идетъ—подаютъ енотовую шубу. Журналы даже читалъ». Какъ будто ѣсть рябчиковъ и мороженое, ходить въ «нотѣ и читать «Отечественныя Записки»,—это такое счастье, которое можетъ уравновѣсить сознаніе своего безправія, безнадежности положенія, долготѣе, быть можетъ, пожизненное заключеніе...

Осмотрѣвъ всѣ достопримѣчательности моей камеры, я легъ спать; когда заиграли куранты, я узналъ, что только еще пятый часъ, и я заснулъ съ мыслью, что всѣ надежды и иллюзіи кончились, но нѣкоторымъ утѣшеніемъ можетъ служить то обстоятельство, что теперь я уже пристроенъ къ мѣсту и мнѣ уже не угрожаютъ никакія внезапности и неожиданности. Тутъ я вспомнилъ и впервые одѣнилъ одинъ изъ максимовъ Ла-Рошфуко: «Savoir jusqu'a quel point on doit être malheureux, est une espèce de bonheur».

V.

Я былъ утомленъ впечатлѣніями прошлой ночи и спать бы, конечно, долго, но, когда только начало разсвѣтать, ко мнѣ пришелъ Иродъ со свитою и разбудилъ меня грохотомъ отпираемой двери, которая, какъ я замѣтилъ это еще вчера, запиралась сначала на ключъ, а потомъ дверь закрывалась поперекъ всей ширины ея желѣзнымъ засовомъ, въ ладонь шириною, который, такимъ образомъ, закрывалъ замочную скважину. Одинъ конецъ этого засова былъ укрѣпленъ на шарнирѣ въ углубленіи, сдѣланномъ въ углу стѣны, а другой — надѣвался на пробой, вдѣланный въ противоположный косякъ. Затѣмъ въ этотъ пробой вдѣвалась дужка массивнаго замка, такого, какимъ запираютъ амбары и сараи. Отпирание и запираііе двери производилось съ такимъ грохотомъ, что мертвыхъ бы разбудило.

Я всталъ и началъ одѣваться около стола; Соколовъ не подошелъ ко мнѣ и его глаза безпокойно забѣгали: къ столу подошелъ солдатъ съ ковшомъ воды, которую и перелилъ въ кружку.

— «Чтобы не мѣшаться, лучше отходить туда», сказалъ Иродъ, показывая рукой, чтобъ я отошелъ за столъ.

Я отошелъ, сразу даже не понявъ, въ чемъ дѣло: сперва я подумалъ, что буду мѣшать убирать постель, но этого не полагалось нашему брату, и я понялъ, наконецъ, что Иродъ просто принималъ мѣру предосторожности противъ, нельзя сказать, возможности—ея, очевидно, не было—а противъ тѣни возможности сунуть записку или получить таковую.

Одинъ изъ унтеровъ взялъ кусокъ хлѣба, надрѣзанный по серединѣ, у солдата, остановившагося въ дверяхъ, разогнулъ разрѣзъ и, убѣдившись, что тамъ ничего не запечено, кромѣ

быть можетъ, таракана, а это иной разъ бывало, положилъ его на столъ. Потомъ онъ поставилъ соль въ оловянной солонкѣ, а въ это время другой унтеръ, взявъ со стола лампочку, сталъ осматривать стѣны, точно ожидая найти тамъ какую-нибудь надпись; и эта комедія повторялась каждое утро въ теченіе всего моего пребыванія въ № 5, но я все-таки ухитрился сдѣлать надпись, такъ и не попавшуюся, необнаруженную, благодаря искусно выбранному мѣсту. Наконецъ, дежурный передалъ лампу солдату, и тотъ унесъ ее въ корридоръ, а другой солдатъ поставилъ у дверей швабру.

— «Самъ комнату убирать долженъ», сказалъ Соколовъ, показывая на нее ключемъ.

Я еще не зналъ, насколько именно были измѣнены порядки въ Алексѣевскомъ равелинѣ, и подумалъ, что, можетъ быть, чай продолжаютъ давать, но когда я спросилъ: «какъ здѣсь на счетъ чаю?» то получилъ въ отвѣтъ:

— Два съ половиной фунта черного хлѣба, щи да каша. За обѣдомъ квасу дадутъ,—больше ничего.

При послѣднихъ словахъ Иродъ поднялъ ключъ и отвелъ въ сторону руку, вооруженную ключемъ, съ жестомъ капельмейстера, управляющаго оркестромъ.

Ключъ былъ для Ирода чѣмъ-то въ родѣ жезла Ааронова, и безъ него мнѣ нельзя себѣ представить ни апостола Петра, ни Матвѣя Ефимовича. Такъ онъ запечатлѣлся въ моей памяти съ вѣчно зажатымъ въ рукѣ ключемъ, движеніями котораго онъ настолько подчеркивалъ смыслъ своихъ рѣчей, значеніе которыхъ зачастую бывало «темно иль ничтожно», но, тѣмъ не менѣе, такихъ, что имъ, дѣйствительно, было невозможно «внимать безъ волненія», особенно на первыхъ порахъ.

— Мнѣ все равно,—продолжалъ Иродъ, помолчавъ немного.—Мнѣ что прикажутъ: отъ себя ничего не дѣлаю, и на меня обижаться нечего. Прикажутъ мнѣ сдѣлать лучше — сдѣлаю лучше. Прикажутъ сдѣлать хуже — сдѣлаю хуже. Прикажутъ тебя выпустить—и выпущу!

Съ этими словами онъ снова поднялъ брови и широко развелъ руки, какъ бы желая нагляднымъ образомъ представить тотъ просторъ свободы, какой онъ готовъ мнѣ предоставить, если..... это будетъ ему «приказано». Иродъ помолчалъ еще и закончилъ:

— Со всякимъ твоимъ желаніемъ обращайся ко мнѣ. Законно — исполню (движеніе ключемъ внизъ); нелѣпо — (ключъ отводится вправо) такъ и скажу.

Въ данную минуту у меня было одно желаніе, а именно, чтобъ меня поскорѣе оставили одного, почему я и промолчалъ. Во время нашего разговора солдаты внесли что-то и поставили съ правой стороны двери. Было еще рано, лампу уже погасили, да къ тому же унтера, ставшіе около меня, заслонили собой принесенную вещь, и только, когда всѣ вышли, я убѣдился, что это умывальникъ изъ листового желѣза, крашеный, изъ тѣхъ, которые встрѣчаются на городскихъ постоянныхъ дворахъ и въ дешевыхъ гостиницахъ. Наверху былъ резервуаръ съ толкачикомъ, направо и налѣво отъ спинки, къ которой былъ прикрѣпленъ резервуаръ, или два рожка изъ проволоки, на одномъ изъ которыхъ висѣло полотенце, носившее то же клеймо А. Р. 1864, какъ и на простыняхъ. Ниже былъ тазъ, покрытый внутри тѣмъ-то въ родѣ бѣлой эмали. На днѣ его была дырка, въ которую была вставлена трубка для стока воды въ ведро, стоявшее на нижней полкѣ. Такая же маленькая полочка была предназначена для мыла и др. вещей, необходимыхъ при умываніи культурнаго человѣка; но мыла, ни тѣмъ паче зубного порошка я не видѣлъ все время заключенія въ Петропавловской крѣпости, кромѣ какъ въ ваннѣ; равнымъ образомъ и другой, необходимой въ житейскомъ обиходѣ вещи — носового платка, считавшагося начальствомъ тоже излишней роскошью. Умывальникъ былъ еще совсѣмъ новенькій и имѣлъ даже щеголеватый видъ, что скрашивало обстановку камеры, но скоро краска стала лущиться отъ сырости, эмаль потрескалась, и тазъ и ведро проржавѣли, и черезъ полгода это было сущее безобразіе, а не украшеніе моего непригляднаго жилища.

Потѣвши хлѣба съ солью, что отнынѣ составляло мой ежедневный завтракъ, я обратилъ вниманіе на вентиляторъ въ стѣнѣ, которая выходила въ корридоръ. Онъ былъ очень большой, вершка 4 въ діаметрѣ, въ красивой синей оправѣ съ мѣднымъ ободкомъ. Его можно было открывать и закрывать по желанію, что меня порадовало, такъ какъ камера была убійственно сыра, и я думалъ, что она станетъ суше, благодаря постоянной тягѣ воздуха. Вѣроятно, меня и держали въ Трубецкомъ, чтобъ нѣсколько высушить за это время № 5. — единственную тогда свободную камеру, запущенную и забро-

шенную, Богъ знаетъ, съ какихъ поръ, но если ее и старались сдѣлать возможною для обитанія, то это удалось лишь въ известной степени. Стѣны, особенно внизу, были пропитаны водой, какъ губка. На подоконникѣ постоянно стояла лужа, и когда она достигала известныхъ размѣровъ, съ подоконника начинали бѣжать струйки воды на полъ, и безъ того сырой отъ мокрой швабры. Ее я просушилъ, наконецъ, и старался собирать воду съ пола тряпкой, которую дня чрезъ два далъ мнѣ Соколовъ. Я всегда держалъ ее на подоконникѣ, и, когда она пропитывалась водой, я выжималъ ее, измѣряя ложкой количество атмосферическихъ осадковъ въ моей камерѣ. Жаль, что теперь уже забылъ выведенное мною, по наблюденіямъ нѣсколькихъ дней, среднее количество влаги, осаждавшейся въ теченіе сутокъ.

Прислушиваясь къ хлопанью дверей и грохоту засововъ, я замѣтилъ, что водятъ на прогулку; меня, однако, не взяли, хотя я этого и ожидалъ, полагая, что уже сталъ полноправнымъ гражданиномъ Алексѣевского равелина. Мнѣ показалось, что у меня есть сосѣдъ въ № 4, и что онъ тоже ходилъ гулять, но шаговъ его я не слышалъ еще, ибо полы у насъ были деревянные, а его коты, должно быть, уже обносились и не тукали, какъ мои новенькіе. Раза два я прикладывалъ ухо къ стѣнѣ, но все-таки не слышалъ шаговъ: должно быть, мой сосѣдъ лежалъ въ это время, къ тому же я не хотѣлъ его звать до обѣда, не зная еще здѣшнихъ порядковъ и думая, что, во всякомъ случаѣ, послѣобѣденное время удобнѣе для стука.

Ровно въ 12 ч. началась раздача обѣда. Мнѣ дали оловянную миску со щами и такую же тарелку съ гречневой размазней, на которую была налита чайная ложка масла*), и налили въ кружку квасу. Соколовъ подошелъ ко мнѣ и, подавая бумагу, сказалъ:

— «Чтобъ ты зналъ, какія здѣсь правила, я даю тебѣ правила, а послѣ возвратить».

— Хорошо.—отвѣтилъ я и, дѣлая видъ, что вовсе не такъ ужъ интересуюсь этими правилами, положилъ ихъ на столъ.

Конечно, какъ только дверь захлопнулась, я развернулъ бумагу и прочелъ то же самое, что мнѣ ужъ давали читать: только въ заголовкѣ «Трубецкой бастіонъ» былъ замѣненъ

*) Коноплянаго.

«Алексѣевскимъ равелиномъ». Опять упоминаніе о централкѣ. опять—четверть срока, перечисленіе того, что воспрещено заключеннымъ, то же милостивое разрѣшеніе выводить на прогулку подъ надлежащимъ карауломъ и съ соблюденіемъ непремѣннаго условія: строгой одиночности заключенія и невозможности сношеній съ другими арестованными. Далѣе,—коты, рубахи, армяки и проч. Въ заключеніи снова 4000 шпицрутеноевъ и 500 розогъ. Внизу была подпись секретаря Комендантскаго управленія,—фамиліи не разобралъ,—удостоверяющая подлинность копій.

Ждалъ я этого, а все же сжалось сердце при мысли о томъ, что въ такихъ условіяхъ жизнь просто немыслима, и не только четверть срока, а и годъ, прожить такъ—ужасно. Притомъ, какова четверть срока: для безсрочнаго? Но сознаніе того, что я не одинъ, что даже за сосѣдней стѣной у меня есть товарищъ, подбодрило меня: на людяхъ и смерть красна...

Посуду здѣсь не отбирали и ее приходилось мыть самому и холодной водой. Можно себѣ представить, что это было за мытье! Тутъ я замѣтилъ, что на мискѣ стоитъ клеймо: А. Р. 1819 г., а на тарелкѣ: Ш. К. 1821 (Шлиссельбургская крѣпость). Когда тамъ перестали держать политическихъ, то все тюремное имущество было передано въ Алексѣевскій равелинъ. Я задумался надъ этими клеймами. Сколько людей бѣли изъ этой посуды? Кто были эти люди? Чѣмъ они кончили?...

Только что я успѣлъ привести въ порядокъ посуду, какъ услышалъ мелкую дробь и вопросъ: «кто вы?»

У меня просто сердце затрепетало отъ радости. Я бросился къ стѣнѣ и простучалъ свою фамилію.

— «А вы?»—спросилъ я въ свою очередь.

— Здравствуйте, я Щедринъ.

Я мало былъ знакомъ съ Щедринымъ. Кажется мы всего два раза и видѣлись, но у насъ было много общихъ знакомыхъ. о которыхъ онъ сталъ разспрашивать. Удовлетворяя его любопытству, я все-таки недоумѣвалъ. Я зналъ, что Щедринъ, при сужденный въ 81 году въ Кіевѣ, по дѣлу Южно-русскаго рабочаго союза, къ повѣшенію, а затѣмъ помилованный, былъ отправленъ въ Сибирь. Сидя въ Иркутскомъ острогѣ, онъ далъ пощечину полковнику Соловьеву (чиновнику особыхъ порученій при иркутскомъ генераль-губернаторѣ), который велѣлъ посадить въ карцеръ двухъ барынь (Ковальскую и Богомолецъ,

осужденныхъ по тому же процессу Ю. Р. Р. союза), за разговоры съ товарищами черезъ окно. Щедрина снова приговорили къ смертной казни, только на этотъ разъ чрезъ разстрѣляніе, но генераль-губ. помиловалъ его, замѣнивъ казнь прикованіемъ къ тачкѣ и увеличеніемъ срока пребыванія въ разрядѣ испытуемыхъ. Затѣмъ Щедрина отправили на Кару.

Какъ только я уловилъ удобную минуту, я спросилъ его, какъ онъ сюда попалъ, и Щедринъ разсказалъ мнѣ про неудачный побѣгъ съ Кары (въ маѣ 1882 г.) 8-ми человѣкъ, которые всѣ были пойманы и, что всего досаднѣе, Мышкинъ и Хрущевъ—уже во Владивостокѣ, куда они добрались благополучно. Юрковский и трое его товарищей были взяты казаками въ тайгѣ на берегу Аргуни, а Крыжановскій и Минаковъ, которыхъ онъ считалъ виновниками неудачи, побродивъ ночь по кустамъ и пустырямъ въ окрестностяхъ Кары, утромъ сами пришли къ смотрителю, понимая безнадежность своего положенія. Они такъ неосторожно спустились съ крыши, что ихъ замѣтилъ часовой, сначала окликнувшій ихъ, а потомъ сдѣлавшій выстрѣлъ, который всѣхъ поднялъ на ноги.

Побѣги производились такимъ образомъ: ежедневно 2 человека прятались въ подпольѣ зданія мастерскихъ, которое находилось за тюремной оградой, и ночью спускались съ крыши и уходили. На ихъ постели клали чучела, прикрывая ихъ одеялами; при вечерней повѣркѣ, казаки, находившіеся на караулѣ, видя пару сапогъ, торчащихъ изъ подъ одеяла, ничего не подозревали вплоть до неудачнаго побѣга послѣдней пары (Крыжановскій и Минаковъ).

Тяжело было слушать объ этой неудачѣ, но еще тяжелѣе были разказы Щедрина о дальнѣйшихъ событіяхъ на Карѣ. Начальство, взбѣшенное побѣгомъ, отобрало собственныя вещи и книги заключенныхъ. Все это было продано съ аукціона, а деньги были употреблены на покрытіе расходовъ по поимкѣ. За cadaго изъ бѣжавшихъ было назначено по 500 руб. вознагражденія, и цѣлыя деревни отъ мала до велика, бросивъ хозяйство и полевая работы, уходили въ тайгу на ловлю бѣглецовъ. Черезъ нѣсколько дней, ночью, къ заключеннымъ начальство ворвалось чуть не съ цѣлой сотней казаковъ и всѣхъ перевязали. Сопротивлявшихся били прикладами. 20 человѣкъ отобрали и перевели въ другую тюрьму, на среднюю Кару (ихъ было 3: верхняя, средняя и нижняя), гдѣ раньше были одни

уголовные. Держать стали строго, и предали суду не только бѣжавшихъ, но и всѣхъ остальныхъ за содѣйствіе къ побѣгу и укрывательство. По распоряженію изъ Питера, отобрали 8 человѣкъ (Щедринъ, Попова, Игната Иванова, Волошенко, Павла Орлова, Людвигъ Кобылянского, Буцинскаго и Геллиса) и привезли въ сентябрѣ 82 г. въ Петропавловку, гдѣ первыхъ трехъ посадили въ Алексѣевскій рavelинъ, а остальныхъ въ Трубецкой бастионъ.

— «Какъ я радъ, что вы попали сюда», закончилъ Щедринъ свое грустное повѣствованіе. «До сихъ поръ я себя чувствовалъ, какъ въ могилѣ».

— А каковы здѣсь порядки?—спросилъ я.

— «Ужасны!—но я думаю, что больше года насъ здѣсь не продержатъ, а переведутъ въ централку какую-нибудь. Тамъ намъ будетъ гораздо лучше».

— «Ну, утѣшилъ», подумалъ я, вспоминая все, что я читалъ и слышалъ о централкѣ. Нужно замѣтить, что перестукиваться намъ было гораздо легче здѣсь, чѣмъ въ Трубецкомъ. Деревянные полы влекли за собой то неудобство, что можно было перестукиваться только со своими непосредственными сосѣдями, ибо звукъ не распространялся черезъ дерево, но, съ другой стороны, это давало возможность стучать очень тихо: затѣмъ, часовые не имѣли права подходить къ дверямъ и заглядывать въ глазокъ, а, ходя по серединѣ корридора, они не могли слышать стука. Дежурили ежедневно только два унтера, и дѣла имъ было много. Прежде всего—во время раздачи обѣда и ужина присутствовали они оба, давая, такимъ образомъ, возможность стучать вполнѣ безопасно, въ теченіе 10-15 минутъ. Среди дня они были въ постоянномъ разгонѣ, и не такъ уже часто подслушивали и подсматривали. Носили они сапоги, а не валенки, какъ это стали дѣлать въ Шлиссельбургѣ. Нужно было весьма немного наблюдательности и осторожности, чтобы слышать приближеніе дежурнаго и заблаговременно отойти отъ стѣны. Иногда дежурный старался подкрадываться тихо, что, конечно, ему не удавалось, иногда-же, напротивъ, онъ, шелъ быстрыми шагами, топая во всю мочь, чтобы его приняли за проходящаго по корридору истопника (жандармскаго солдата) и вдругъ стремительно кидался къ какой-нибудь двери, но эта наивная уловка, по крайней мѣрѣ, относительно меня ни разу не увѣнчалась успѣхомъ.

Наговорившись до-сыта, мы разошлись, оба взволнованные и утомленные этой бесѣдой. Надо сказать, что наши разговоры имѣли въ себѣ мало отраднаго. Шедринъ рассказывалъ мнѣ о Карійскомъ побѣгѣ и вызванныхъ этимъ репрессіяхъ. о провалѣ всего сибирскаго пути, что случилось, когда я еще былъ на волѣ (арестовано было тогда отъ Перми до Иркутска около 40 человекъ; межъ ними учитель Иркутской женской гимназіи Неустроевъ, давшій пощечину ген.-губ. Анучину, которымъ постигъ его въ острогѣ и сталъ грубо упрекать въ то, что онъ, человекъ, учившійся на средства правительства. — Неустроевъ былъ стипендіатъ, — измѣнилъ ему и пошелъ противъ него. Неустроевъ былъ за это преданъ военному суду и разстрѣлянъ. Эти подробности я узналъ впоследствии отъ Мышкина). Я, со своей стороны, могъ рассказать ему о рядѣ неудачъ и погромовъ, начавшихся въ концѣ января въ Москвѣ и продолжавшихся тамъ до мая; затѣмъ, въ Кіевѣ и Одессѣ (февраль-мартъ) и завершившихся тяжкимъ ударомъ въ Петербургѣ въ іюнь мѣсяцѣ, когда тамъ была арестована динамитная мастерская и готовыя уже бомбы для предполагаемаго покушенія на Александра III, которое было организовано Грачевскимъ и другими, тугъ и погибшими. Эти погромы должны были на долгое время привести въ разстройство «Народную Волю». и безъ того понесшую невознаградимыя потери въ первой половинѣ 81 г. Мѣсяца за четыре до моего ареста я узналъ истинное, а не показное, официальное, положеніе дѣлъ и. правду сказать, не радъ я былъ тому, что узналъ: это разбило тѣ иллюзіи, которыя я питалъ раньше, главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ Грачевскаго, безукоризненно чистаго и честнаго человека, но который, будучи фанатикомъ, былъ совершенно не способенъ смотрѣть на жизнь трезво и критически относиться къ людямъ и фактамъ. Онъ часто принималъ за реальное то, что ему страстно хотѣлось видѣть, но что дѣйствительно существовало только на бумагѣ или находилось въ первоначальной стадіи развитія. Московскіе аресты были къ тому же такъ странны, что многіе стали объяснять ихъ предательствомъ, указывая даже иногда на человека, игравшаго крупную роль въ революціонномъ движеніи и входившаго въ составъ центральной организаціи, какъ на виновника нѣкоторыхъ изъ этихъ арестовъ. Была-ли тутъ хоть доля правды — не знаю, но подобныя слухи оставляли на душѣ тяжелый осадокъ; къ тому

же въ это время Судейкину удалось внести деморализацію въ студенческую среду, изъ которой вышло немало шпіоновъ и агентовъ-провокаторовъ; шпіоновъ-же изъ рабочихъ было и раньше, хоть отбавляй.

За ужиномъ Соколовъ, взявъ обратно данныя мнѣ правила, съ усмѣшкой спросилъ: «прочелъ?»

— Да, отвѣтилъ я, — и желалъ-бы сдѣлать нѣсколько вопросовъ.

— «Напримѣръ?»

— Напримѣръ, по чьему распоряженію я посаженъ сюда?

— «На этотъ вопросъ я тебѣ не имѣю права отвѣчать».

— Ладно... Въ такомъ случаѣ, на сколько лѣтъ я посаженъ сюда?

— «Будешь сидѣть, пока прикажутъ».

— А будетъ-ли Комендантское управленіе давать обо мнѣ свѣдѣнія роднымъ, если они сдѣлаютъ запросъ?

— «Ни въ какомъ случаѣ»!

Тѣмъ нашъ разговоръ и кончился.

На другой день гулять меня опять-таки не повели, и за обѣдомъ я спросилъ Ирода, когда-же меня поведутъ на прогулку.

— «Когда будетъ разрѣшено, такъ и поведутъ,—ясно?»

— Вполнѣ ясно,—подумалъ я.

— «А вотъ библія разрѣшается, и когда разрѣшать, я тебѣ ее дамъ», сказали уходя Соколовъ.

VI.

Черезъ нѣсколько дней я завелъ новое знакомство съ крѣпостнымъ докторомъ Вильмсомъ и жандармскимъ поручикомъ Яковлевымъ, состоявшимъ при Трубецкомъ, гдѣ онъ цензуровалъ письма слѣдственныхъ и присутствовалъ иногда на свиданіяхъ, и отправлялъ, въ отсутствіе Соколова, должность смотрителя въ Алексѣевскомъ. Знакомство наше произошло такъ: послѣднее время жизни на волѣ я сталъ прихварывать. Появился у меня катарръ желудка, развинтились нервы и, наконецъ, привязалась перемежающаяся лихорадка, въ пароксизмъ которой мнѣ даже и пришлось ѣхать на злополучное освобожденіе Новицкаго. Въ тюрьмѣ я избавился отъ лихорадки, но получилъ взамѣнъ небольшою ревматизмъ. Въ Алексѣевскомъ я замѣтилъ небольшую опухоль кисти рукъ и боль въ сочлене-

ни, начало мнѣ и руку довольно сильно поламывать. Вначалѣ я не придавалъ этому значенія, но потомъ рѣшилъ позвать доктора, который бывалъ здѣсь почти ежедневно, какъ сказалъ мнѣ Щедринъ. Какъ-то за ужиномъ я увидѣлъ, что дверь отворилъ не Соколовъ, а какой-то другой офицеръ, который не вошелъ въ камеру, а сталъ въ корридорѣ, какъ-то бокомъ ко мнѣ. Я сказалъ дежурному, что мнѣ нуженъ докторъ, на что тотъ, конечно, промолчалъ, ибо имъ было строго запрещено вступать въ какіе бы то ни было разговоры съ арестантами, и Соколовъ сказалъ однажды, помнится, Попову, который что-то спросилъ у дежурнаго: «а ты напрасно съ нимъ разговариваешь: они у меня глухіе и нѣмые. Коли что нужно — спроси у меня».

Дѣйствительно, дежурный, къ которому я обратился, ни словомъ, ни взглядомъ, ни какимъ-бы то ни было движеніемъ не показалъ мнѣ даже, что онъ слышалъ мои слова, но, выйдя въ корридоръ, онъ взялъ подъ козырекъ и что-то сказалъ тихимъ голосомъ офицеру. Тотъ вошелъ ко мнѣ, и я увидѣлъ нестарого еще челоѣка необъятной толщины, почему у насъ и дано было ему прозваніе «бочка», съ очень жесткимъ, выраженіемъ одутловатаго лица, и спросилъ меня:

— «А что болитъ?»

— Да ревматизмъ, — говорю. Рука болитъ.

«А ну покажи?»

Я показалъ, невольно изумившись такому любопытству. Яковлевъ бросилъ бѣглый взглядъ, буркнувъ: «завтра приведу».

Потомъ я узналъ, что по инструкціи Алексѣевского равелина къ заключенному только тогда допускается докторъ, когда смотритель убѣждается въ необходимости медицинской помощи. Товарищамъ, пожаловавшимся на зубную боль, Иродъ спокойно сказалъ, что въ Петербургѣ у всѣхъ зубы болятъ и наотрѣзъ отказался звать доктора. Когда Фроленко заболѣлъ цынгой, и ему уже стало больно ходить, онъ сказалъ, что желаетъ видѣть доктора, на что Иродъ отвѣтилъ отказомъ, совершенно спокойно прибавивъ, что «это не есть болѣсть, когда чоловѣкъ гулять ходитъ».

На другой день, часовъ въ 10 утра, я услышалъ въ корридорѣ около моей двери старческое покашливаніе; затѣмъ, загромыхалъ засовъ, отворилась дверь, и ко мнѣ вошелъ высокій сутуловатый старикъ въ генеральскомъ пальто съ красной под-

кладкой. Ступивъ шага два отъ порога, остановился и. одной рукой поправляя очки, а другой опираясь на палку, крикнулъ,—буквально крикнулъ, а не сказалъ: «что у тебя болитъ»?

Въ первый разъ я увидѣлъ такого врача, въ первый еще разъ встрѣчалъ такое отношеніе со стороны человѣка, долгъ котораго состоитъ не въ заглушеніи души и не въ надзорѣ за арестантами, а исцѣленія, или же, по крайней мѣрѣ, въ облегченіи страданій человѣческихъ.

Я не сразу отвѣтилъ ему и сказалъ, наконецъ, коротко: «Ревматизмъ».

— Гдѣ?—покажи! Вильмсъ переложилъ палку въ лѣвую руку, ткнулъ пальцемъ въ опухоль и раза два-три согнулъ и разогнулъ мою больную кисть.

Я было началъ: «я чувствую боль въ....»

Но тотъ не далъ мнѣ докончить и сказалъ:

— Субъективныя ощущенія. Признаковъ объективныхъ мало: это только расширеніе сосудовъ.

Съ этими словами онъ повернулся и пошелъ къ двери.

«Принимите мнѣ хоть іодовой тинктуры», сказалъ я вслѣдъ ему.

— Ничего не принимаю: объективныхъ признаковъ мало.— отвѣтилъ не оборачиваясь Вильмсъ и вышелъ.

Возмущенный до глубины души, я позвалъ Щедрина и рассказалъ происшедшее.

«Онъ всегда такой»,—замѣтилъ Щедринъ.

— А что за человѣкъ смотритель?

«Преестественная скотина»!

— Ну, а этотъ молодой офицеръ?

«Еще того хуже»!

— Ну, подумалъ я,—и подобралась-же компанія!—Помню, что весь этотъ день я проходилъ злой-презлой, ругая себя за то, что позвалъ этого доктора. Самъ напросился на оскорбленіе.... На слѣдующій день утромъ я спросилъ Яковлева, какіе тутъ порядки относительно прогулки и почему мнѣ не даются.—Яковлевъ буркнулъ:

«Это отъ коменданта зависитъ. Я ему доложу».

— А вотъ что еще: мнѣ смотритель говорилъ, что здѣсь библія разрѣшается.

«Да, да,—перебилъ Яковлевъ,—но ее надо купить».

— У меня есть свои деньги. Можетъ скорѣе будетъ, если купишь на нихъ, а не ждать отпуска казенныхъ денегъ?

«Хорошо, хорошо; я доложу и о библии коменданту».

Библию мнѣ принесли на слѣдующее утро, но о прогулкѣ не было сказано ни слова, а самъ я рѣшилъ уже больше не заговаривать. Когда Соколовъ вступилъ снова въ отправленіе своихъ обязанностей, вошелъ ко мнѣ и увидѣлъ библию, то сказалъ:

«А, библию получилъ! — это хорошо: *религіозность никогда не мѣшаетъ*».

— О, Боже, подумалъ я, — онъ еще можетъ мнѣ читать духовно-нравственныя поученія! — и замѣтилъ: а вотъ на прогулку меня не водятъ.

«Когда будетъ разрѣшено — буду водить. Ясно?»

— Вполнѣ ясно, — согласился я и болѣе уже не тревожилъ Матвѣя Ефимовича.

6 декабря ко мнѣ зашли къ первому, когда еще было темно, и Соколовъ торжественно провозгласилъ:

«Такъ какъ ты тихо себя ведешь, то прогулка тебѣ разрѣшается», и сдѣлалъ знакъ ключемъ одному изъ дежурныхъ, стоявшему въ дверяхъ. Тотъ подошелъ и положилъ на кровать коротенькій арестантскій полушубокъ. Я торопливо одѣлся и вышелъ вслѣдъ за унтеромъ, снова отошедшимъ къ дверямъ; за мной пошелъ Продъ, который обязательно лично водилъ насъ на прогулку и уводилъ отсюда.

Мы вышли въ подворотню, унтеръ распахнулъ калитку воротъ, выходившихъ въ садикъ, и первое, что я увидѣлъ въ полутьмѣ, — это была траншея, аршина полтора глубиной, которая была прорыта въ снѣгу, толстымъ слоемъ завалившимся садикъ.

«Гулять можно здѣсь», сказала Соколовъ, показывая на эту глубокую тропинку, немного не доходившую до вершины треугольника, который представлялъ изъ себя нашъ миниатюрный садикъ. Унтеръ сталъ ходить взадъ и впередъ по другой дорожкѣ, проложенной по основанію треугольника у стѣны, съ правой стороны отъ калитки, а съ лѣвой — находился унтеръ-офицеръ изъ караула.

Пройдя нѣсколько шаговъ, я остановился и сталъ осматривать садикъ. Онъ былъ такъ уже занесенъ снѣгомъ, что не было видно ни двухъ цвѣточныхъ клумбъ, расположенныхъ

другъ противъ друга съ правой и съ лѣвой стороны дорожки, ни кустовъ, которыми была обсажена дорожка. Въ саду росли бузина, четыре яблони, вѣроятно, тѣ самыя, которыя выросли декабристъ Батенковъ, какъ онъ рассказывалъ, изъ сѣмечекъ яблокъ, дававшихся ему иногда въ качествѣ десерта, штукъ пять березъ и большая, можетъ быть, столѣтняя липа, за клѣмбой, съ правой стороны. Когда я поравнялся съ ней, то спутнулъ, ночевавшую на ея вѣтвяхъ ворону. Съ недовольнымъ карканьемъ поднялась потревоженная птица съ вѣтки, на которой сидѣла, тяжело взмахивая крыльями и отряхивая съ вѣвей липы клочья снѣга, которые плавно кружась въ воздухѣ, медленно садились на землю. Ворона сѣла на конекъ крыши тюрьмы, почистивъ носъ, каркнула еще разъ, другой, словно желая прочистить горло и полетѣла добывать себѣ завтракъ. Завистливымъ взглядомъ проводилъ я ее и сразу же почувствовалъ къ ней глубокую симпатію за то, что она,—вольная птица,—ничего не имѣетъ общаго съ синемундирнымъ міромъ, во власти котораго я очутился, и я даже съ угрызеніемъ совѣсти вспомнилъ, что не разъ, возвращаясь съ охоты, стрѣлялъ воронъ просто для того, чтобы разрядить ружье.

Липу я сейчасъ-же узналъ. Это была моя старая знакомая. Въ ноябрѣ 78 г., какъ разъ передъ моимъ арестомъ, я зашелъ къ одному товарищу («Саввѣ») и засталъ у него «Раечку». Это было время горячее. Ежедневно шли аресты и конца имъ не было видно. Я рассказалъ объ нѣсколькихъ, произведенныхъ въ эту ночь; Раечка добавила еще два, мнѣ неизвѣстныхъ. «Ну и времена!—сказалъ я: теперь, прощаясь, нужно говорить не «до свиданія», а «прости навѣкъ»!»—Всѣ разсмѣялись. Когда я уходилъ, двинулась со мной и Раечка, которой тоже нужно было въ городъ. Мы переѣхали на Гагаринскую набережную, гдѣ намъ пришлось разойтись, и Раечка, смѣясь, сказала мнѣ: ну, такъ какъ-же?—«Прости навѣкъ?» Прости навѣкъ,—отвѣтилъ я трагическимъ тономъ,—и мы оба расхохотались, не вѣдая того, что было уже начертано въ книгѣ судебъ. Во время нашего переѣзда черезъ Неву я и увидѣлъ въ первый разъ эту липу. Дѣло въ томъ, что начались порядочные холода и по Невѣ шло сплошное «сало». Нашъ слабосильный пароходикъ съ большимъ трудомъ прокладывалъ себѣ путь среди напирающихъ на него льдинокъ. Все время подъ носомъ трещалъ и шуршалъ ледъ, который приходилось расталкивать на-

шему пароходнику; льдины напирали и стучались о лѣвый бортъ, постоянно уклоняя пароходикъ правѣе и правѣе и, наконецъ, мы наткнулись на сплошной ледъ, пробиться черезъ который пароходикъ не былъ въ силахъ и завязъ въ немъ. Пришлось дать задній ходъ и искать какого-нибудь «проранка» между льдинами. Пароходъ шипѣлъ отчаяннымъ образомъ, капитанъ кричалъ и ругался, а кочегаръ подбрасывалъ въ топку одну лопату углей за другой, но дѣло все-таки было плохо. Масса льда, скопившаяся подъ лѣвымъ бортомъ, напирала съ такою силой, что насъ стало быстро сносить по теченію и, наконецъ, мы очутились въ какихъ-нибудь 20 саженьяхъ отъ исходящаго угла Трубецкого бастиона, завернули за него и пошли въ недалекомъ разстояніи отъ куртины, межъ Трубецкимъ и Зотовымъ бастионами.

Я ни разу не видѣлъ крѣпости съ этого пункта и удивился, найдя нѣчто мнѣ незнакомое: посреди, такъ сказать, залива Невы, межъ этими бастионами, въ очень недалекомъ разстояніи отъ куртины, былъ небольшой островокъ, который только съ этого пункта и можно было увидѣть. На этомъ островѣ виднѣлось треугольное зданіе и передъ нимъ невысокая кирпичная стѣна, такъ, по-плечи человѣку, въ видѣ люнета. Въ наружныхъ стѣнахъ этого зданія не было ни одного окна, а далѣе за нимъ, параллельно внѣшней стѣнѣ, виднѣлся рядъ трубъ второго внутренняго зданія, которое и было, очевидно, тюрьмой Алексѣевского рavelина, и число трубъ соотвѣтствовало числу камеръ. За этими трубами виднѣлась верхушка той самой липы, которая была теперь передъ моими глазами, и также, какъ теперь, на верхушкѣ сидѣла ворона.

«Раечка, это Алексѣевскій рavelинъ!»—сказалъ я моей спутницѣ, и мы стали жадно смотрѣть на эти стѣны. Бѣдный Нечаевъ!—подумалъ я, и сердце болѣзненно сжалось при мысли о томъ, кто уже долгіе годы схороненъ въ одной изъ камеръ этого рavelина. Ни тогда, ни послѣ мнѣ какъ-то не приходила въ голову мысль, что когда-нибудь и я, больной, утомленный жизнью, съ разбитой душой, буду стоять подъ этой самой липой, прислушиваясь къ пароходнымъ свисткамъ, напоминающимъ о жизни, кипящей за стѣнами нашей ужасной гробницы...

Вспоминая все это, я быстрыми шагами ходилъ взадъ и впередъ, чувствуя бодрящее дѣйствіе свѣжаго воздуха, котораго

я былъ лишенъ довольно уже долго. Соколовъ стоялъ въ подворотнѣ и время отъ времени приподнималъ кусокъ зеленой тафты, которымъ было завѣшено съ той стороны оконце калитки, и я видѣлъ тогда сквозь стекло щетинистые усы и «недреманное око» Матвѣя Ефимовича, слѣдившаго за ввѣреннымъ ему арестантомъ.

Вдругъ калитка распахнулась, и Соколовъ махнулъ мнѣ рукой. Я подошелъ и остановился, думая, что онъ хочетъ что-нибудь мнѣ сказать, но Соколовъ, отходя въ сторону отъ калитки, указалъ мнѣ ключемъ на крылечко въ подворотнѣ.

«Развѣ прогулка кончилась?»—спросилъ я.

— Кончилась, кончилась! Она продолжается 15 минутъ.

Когда я вошелъ въ камеру, то мнѣ такъ и шибнулъ въ носъ сырой, затхлый какой-то и спертый воздухъ моего общаго жилища. Я совершенно забылъ, что еще въ началѣ нашихъ бесѣдъ Щедринъ мнѣ говорилъ, что гуляютъ здѣсь черезъ день и очень недолго: не болѣе четверти часа. Такимъ образомъ приходилось проводить 47 и три четверти часа изъ 48 въ убійственной атмосферѣ камеры. Это играло, конечно, большую роль среди другихъ условій, подрывавшихъ здоровье заключенныхъ.

Наши разговоры съ Щедринымъ скоро перешли на почву общихъ программныхъ вопросовъ и партійной политики. Щедринъ смотрѣлъ на революціонное движеніе весьма пессимистически, считая безусловно невѣроятной побѣду надъ правительствомъ. Все, чего только и можно было ждать, по его мнѣнію, это того, что давленіе общественнаго мнѣнія, какъ западно-европейскаго, такъ и русскаго, и затрудненія, вызванныя разстройствомъ финансовъ, заставятъ правительство дать конституцію.

Я вошелъ въ тюрьму подъ впечатлѣніемъ тяжелыхъ утратъ, неудачъ, разстройства дѣлъ партіи, но все же я глубоко вѣрилъ въ то, что, несмотря ни на какія гоненія, несмотря ни на какія утраты, дѣло свободы таково, что должно побѣдить рано или поздно, что отъ насъ самихъ, отъ нашей энергіи, преданности, политическаго такта, вѣрнаго пониманія того, что именно нужно въ данную минуту, зависитъ скорѣйшее наступленіе дня побѣды свободы, и что вовсе не такъ безнадежно, чтобъ послѣ столькихъ жертвъ, столькихъ трудовъ, такой упорной борьбы, мы могли-бы удовлетвориться мечтами

о какой-то дарованной и при томъ «свыше» конституціи. Я доказывалъ Щедрину, что всё неудачи послѣдняго времени дѣло поправимое; что партія, благодаря имъ, придетъ къ болѣе точному и ясному опредѣленію задачи; пойметъ, что раньше всего, больше всего, нужна политическая свобода, которую можно завоевать систематическимъ терроромъ, для чего нужно имѣть въ своемъ распоряженіи только горсточку преданныхъ и стойкихъ людей, да порядочныя денежныя средства; и въ деньгахъ и въ людяхъ не можетъ быть теперь недостатка, но возможно исполнѣ и то, что партія сумѣетъ не только укрѣпить пошатнувшіуюся организацію, но и расширить ее, сплотить всё революціонныя элементы и, опираясь на офицерскую организацію,—дѣла которой при мнѣ шли очень хорошо, и которая успѣла потерять нѣсколько отдѣльных членовъ, но въ общемъ осталась невредимой, — совершить переворотъ, захвативъ государственную власть.... и я начиналъ излагать ему программу дѣйствій, которую мнѣ хотѣлось бы предложить Временному Правительству.

Теперь все, что я говорилъ тогда, кажется очень наивнымъ, но переживъ тяжелый кризисъ въ теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ моей жизни на волѣ и во время предварительнаго заключенія, я сталъ еще болѣе вѣрующимъ, чѣмъ былъ раньше. Меня лишь угнетало сознаніе, что теперь я не только не могу принять личнаго участія въ дальнѣйшей борьбѣ, но не могу передать на волю тѣмъ, которые живутъ и борются, того ряда измѣненій въ программѣ дѣйствій и тѣхъ практическихъ плановъ, которые создала моя пылкая фантазія.

Вести споры черезъ стѣну вещь довольно неудобная, какъ въ этомъ могъ убѣдиться всякій, сидѣвшій въ тюрьмѣ. Отходя отъ стѣны, я всегда чувствовалъ неудовлетворенность. Мнѣ казалось, что я не высказалъ десятой доли того, что хотѣлъ сказать, что я не привелъ всѣхъ аргументовъ, которые бы неопровержимо доказали истину моихъ утвержденій. Щедринъ сказалъ мнѣ, что я такъ скоро получилъ прогулку, что долженъ считать себя счастливымъ. Онъ и привезенные съ нимъ Каріицы два мѣсяца не имѣли ея, и кромѣ того были въ кандалахъ, которые сняли незадолго передъ моимъ появленіемъ. Щедринъ былъ еще и прикованъ къ тачкѣ, согласно приговору военнаго суда въ Иркутскѣ. Онъ рассказывалъ, что когда везли его, вышелъ большой курьезъ. Оказалось, что съ тачкой его невозможно усадить въ повозку, и пришлось ее отковать. По всей

Сибири (тогда еще не было желѣзной дороги) Щедринъ ѣхалъ на тройкѣ, съ жандармами, а сзади на другой телѣгѣ везли тачку, что, какъ выражался Щедринъ, производило большой эффектъ во всѣхъ градахъ и весяхъ Сибири. По привозѣ, Соколовъ сказалъ Щедрину:

«Тебя нужно приковать къ тачкѣ; какъ ты желаешь: просто или съ церемоніей?»

— То есть, какъ это «съ церемоніей»?—спросилъ Щедринъ въ недоумѣніи...

— А придуть и связуть, если же этого не желательно, то можно и просто.

Щедринъ предпочелъ послѣднее.

Какъ я узналъ потомъ отъ Колодкевича, остальныхъ, по дѣлу 9 февраля 82 г., держали безъ прогулки цѣлыхъ пять мѣсяцевъ, а у нѣкоторыхъ изъ нихъ цынга началась еще во время сидѣнія подъ слѣдствіемъ въ Трубецкомъ бастионѣ.

Порядокъ жизни здѣсь не отличался много отъ того, который былъ въ Трубецкомъ. Утромъ, съ семи часовъ, начинался обходъ камеръ и раздача хлѣба; тутъ-же начиналась прогулка для тѣхъ, чья очередь приходилась въ данный день. Такъ какъ ежедневно гуляла только половина тюрьмы, то къ 9 часамъ прогулка кончалась; потомъ приходилъ докторъ и, затѣмъ, до вечера наступала такая тишина, какая въ Трубецкомъ бывала только по ночамъ, да и то не всегда. Ровно въ полдень слышались шаги солдатъ, несущихъ обѣдь, и звяканье шпоръ Ирода. Затѣмъ раздавалось хлопанье дверей и грохотъ засововъ, которыми сопровождалась всякая раздача пищи. Эта пища была, пожалуй, хуже, чѣмъ въ Трубецкомъ.

Здѣсь въ первый разъ въ жизни я убѣдился, что слова поэта: «горекъ хлѣбъ изгнанья» представляютъ чистѣйшую истину. Этотъ хлѣбъ, почти всегда дурно пропеченный, съ закаломъ, пекся, должно быть, изъ какой-нибудь бракованной муки, затхлой и горьковатой. Иногда въ немъ попадались черви, которыхъ Фроленко показаль однажды Соколову; тараканы же встрѣчались въ немъ очень часто, а во шахъ были постоянной приправой. Помню, разъ мнѣ дали постный «супъ»; я вижу въ немъ маслины. «Ну, расщедрился Иродъ», — подумалъ я, и... вмѣсто маслины, вынулъ ложкою таракана пруссак!

Меню наше было таково: по скоромнымъ днямъ — щи и гречневая размазня, за исключеніемъ воскресенья, когда давали

картофельную похлебку и крутую гречневую кашу; а въ постные дни—по средамъ и пятницамъ,—былъ изрѣдка (въ постомъ) постный супъ съ картошкой и признаками грибовъ самаго низшаго сорта, а чаще—горохъ и щи со снѣтками. Все это было скверно приготовлено и изъ сквернаго матеріала.

Вдобавокъ, у насъ еще воровали. Говорятъ, что въ 83 г. было напечатано правительственное сообщеніе, гдѣ говорилось, что слѣдствіе, вызванное появленіемъ цынги среди заключенныхъ Петропавловской крѣпости, обнаружило злоупотребленія со стороны эконома, который смѣщенъ съ должности. Я узналъ потомъ, что намъ полагалось по 12 золотниковъ мяса. Это очень немного, но въ дѣйствительности давали отъ 4 до 5 кусочковъ, которые цѣликомъ умѣщались въ ложкѣ, и ихъ хватало на одинъ глотокъ. За обѣдомъ давали еще квасъ. Вечеромъ, въ 7 час., подавали ужинъ, состоявшій изъ остатковъ щей, бывшихъ за обѣдомъ, разбавленныхъ горячей водой и, конечно, безъ мяса.

Большимъ источникомъ страданій служило для меня бѣлье. Я пробылъ въ Трубецкомъ двѣ съ половиною недѣли и три раза получалъ новую дерюгу, которую мы всѣ принуждены были носить. Иродъ отобралъ у меня нѣсколько уже обношенное бѣлье (меня перевели въ Алексѣевскій равелинъ на серединѣ недѣли) и далъ опять-таки новое. Оно такъ торчало и кололо тѣло, что на немъ, особенно, на груди, выступали красныя пятна, самое легкое прикосновеніе къ которымъ вызывало страшную боль. Правда, на слѣдующую недѣлю мнѣ дали старенькую рубаху, изъ тѣхъ, что носили раньше въ этой тюрьмѣ. Она была вполне прилична и по качеству матеріала и на видъ. Почему-то у ней были большіе отложные воротники; но снова суббота—и я ежусь отъ боли, причиняемой новой рубашкой. Я сталъ поэтому дѣлать слѣдующее: дадутъ мнѣ новое бѣлье, такъ я имъ вытру мокрый полъ и отдамъ въ стирку, а на себѣ оставлю старое; такимъ образомъ я поступаю съ каждой парой бѣлья по три раза; въ четвертый, послѣ трехъ стирокъ, его уже можно было носить. Кромѣ того, я предварительно каждый разъ мять и теръ бѣлье о спинку кровати, чтобъ сдѣлать его мягче, и выбиралъ изъ него кусочки кострики.

Бѣлье мѣняли каждую субботу; по субботамъ же, разъ въ шесть недѣль, бывала у насъ ванна. Для этого меня, пока я

былъ въ № 5, и Щедрина водили въ первую комнату цейхгауза (см. планъ). въ которой не было ничего, кромѣ голыхъ стѣнъ. Тамъ ставили двѣ жестяныя ванны, одну пустую, другую до половины наполненную водой. Въ первую выливали грязную воду изъ второй, когда заключенный кончалъ мыться. и выносили вонъ; вторую-же, слегка сполоснувъ, снова наполняли для слѣдующаго арестанта. Баней (см. планъ) пользовались только жандармы, для насъ же были эти двѣ переносныя ванны, которыя ставили въ № 13 (дежурная комната. См. планъ), цейхгаузъ (см. планъ) и въ № 2 (поддежурная комната. См. планъ)—для меня, когда я сидѣлъ въ № 3, и А. Д. Михайлова. Соколовъ и оба унтера обязательно присутствовали при мытьѣ, что сначала меня очень стѣсняло. Здѣсь давали мыло и мочалку, но все-таки вымыться, какъ слѣдуетъ, не удавалось даже и одинъ разъ въ шесть недѣль... «Мыться должно не долго», замѣтилъ мнѣ Соколовъ въ первый же разъ, — «не болѣе 15 минутъ», и онъ посмотрѣлъ на часы. Такой порядокъ сохранялся въ теченіе всего времени моего заключенія въ Алексѣевскомъ равелинѣ и представлялъ много неудобствъ и непріятностей.

Единственнымъ чтеніемъ служила библія, и я, чтобъ продлить дольше запасъ умственной пищи, читалъ ее ежедневно небольшими порціями. Новый Завѣтъ былъ мнѣ хорошо знакомъ еще на волѣ, но въ Ветхомъ многое представляло для меня интересъ новизны. Съ большимъ увлеченіемъ я читалъ пророка Исаію, этого великаго поэта еврейскаго народа, нѣкоторыя псалмы Давида, чудную эпопею братьевъ Маккавеевъ. Помню, какъ однажды, сѣвши читать библію въ очень тяжеломъ настроеніи (когда я былъ, какъ разскажу далѣе, переведенъ въ другой номеръ и вполне изолированъ), я почувствовалъ глубокое волненіе и подъемъ духа, прочтя слова пророка Осіа: «а для васъ, благоговѣющихъ передъ именемъ Моимъ, взойдетъ солнце правды и исцѣленіе въ лучахъ его. И вы выйдете и взыграете, какъ тельцы упитанные, и вы будете попорать нечестивыхъ, ибо они будутъ прахомъ подъ ногами ногъ вашихъ въ тотъ день, который я содѣлаю. Такъ говоритъ Богъ Саваоѣ».

VII.

Несмотря на то, что я имѣлъ теперь товарища, съ которымъ можно было отводить душу, жилось невесело и. сред

другихъ условій жизни, которыя тяготили меня, самымъ тягостнымъ была необходимость три раза въ день созерцать Соколова, постоянно входившаго въ камеру. Яковлевъ, по крайней мѣрѣ, не лѣзъ на глаза: заглянетъ въ отворенную дверь и останется въ корридорѣ. Какъ, однако, ни было плохо, скоро я очутился въ еще худшемъ положеніи. Причиной этого была моя собственная, совершенно излишняя конспиративность. Стучали мы не громко, но все-таки лучше было-бы производить еще меньше шума, и я предложилъ Щедрина прикладывать ухо къ стѣнѣ, тогда былъ слышенъ самый легкій стукъ ногтемъ, при томъ отъ стучанья согнутымъ пальцемъ на суставѣ образовалась мозоль. Прикладывая ухо, я не придалъ значенія тому, что на покрытой бѣловатой плѣсенью стѣнѣ остается отпечатокъ; слой плѣсени на такой высотѣ былъ уже очень тонокъ и свѣтелъ, что казалось мнѣ достаточной гарантіей, особенно въ виду того, что всѣ эти отпечатки, ложась другъ на друга, такъ сказать, взаимно уничтожались, и я не думалъ, чтобъ жандармы, даже замѣтивъ пятна на стѣнѣ, поняли все преступное значеніе этихъ знаковъ. Каждое утро, какъ я уже говорилъ, они осматривали стѣну съ лампой въ рукѣ, и все было благополучно.

23 декабря меня вывели на прогулку въ обычное время, т. е. раннимъ утромъ, и Соколовъ не сказалъ мнѣ ни слова, но когда я возвращался и хотѣлъ повернуть изъ калитки на лѣво, Соколовъ заступилъ мнѣ дорогу со словами: «не туда!» и показалъ ключемъ на противоположное крылечко. Недоумѣвая, что это означаетъ, я вошелъ въ незнакомый корридоръ, оказавшійся очень маленькимъ: тамъ было всего три камеры (№ 1, 2, 3 см. планъ), а въ концѣ видѣлась дверь, которая вела въ помещеніе Соколова («Логовище Ирода» на планѣ). Меня ввели въ первую камеру отъ двери (№ 3). Раздѣли и тщательно обыскали. Эта тщательность и беспокойно бѣгавшіе глаза Ирода навели меня на мысль, что тутъ случилось какое-то неблагополучіе, и вдругъ у меня явилась мальчишеская мысль доказать Соколову, что я нимало не смущенъ и отношусь совершенно равнодушно къ моему переселенію.

«А здѣсь недурно. Лучше, чѣмъ въ № 5», замѣтилъ я.

— Только ухо къ стѣнѣ здѣсь прикладывать нѣтъ надобности, — сказалъ съ ехидной усмѣшкой Соколовъ: все равно ничего не услышишь. Ты тамъ, должно быть, постукивалъ?

И Матвѣй Ефимовичъ очень вѣрно изобразилъ, какъ именно постукиваютъ, а затѣмъ, оставивъ меня въ большомъ смущеніи, вышелъ и заперъ дверь.

Очень скоро я убѣдился въ справедливости того, что здѣсь ничего не услышишь. Одна стѣна моей камеры выходила въ подворотню, а за другой была подежурная комната (№ 2). гдѣ, какъ я упоминалъ выше, дѣлали ванну мнѣ и А. Михайлову, сидѣвшему въ № 1. Мы съ нимъ были, такимъ образомъ, совершенно изолированы другъ отъ друга; но разъ,—помню это было уже въ мартѣ,—я услыхалъ его голосъ и сейчасъ-же узналъ. Къ нему заходилъ докторъ, и я отчетливо слышалъ слова: «главное дѣло катарръ желудка и кишекъ....», сказанныя знакомымъ мнѣ, слегка волнующимся голосомъ. Боже!—какъ заколотилось мое сердце, какъ страстно хотѣлось крикнуть ему: «Дворникъ! (такую кличку онъ носилъ, когда мы съ нимъ познакомились въ 77 году)... Я, Поливановъ, здѣсь-же сижу, въ № 3».

Какъ бы дорого я далъ тогда, за возможность, не скажу уже увидѣться, но только быть съ нимъ рядомъ, поговорить хотя бы черезъ стѣну. Я зналъ еще на волѣ, что онъ посаженъ въ Алексѣевскій равелинъ, и думая, что, быть можетъ, онъ сидитъ уже цѣлый годъ въ одиночествѣ,—какъ оно и было на самомъ дѣлѣ,—я почувствовалъ такой приливъ любви къ нему и нѣжности, что цѣлый день не могъ успокоиться....

На волѣ я не имѣлъ чести быть въ числѣ друзей Александра Дмитріевича, мы были только знакомы, и я его очень уважалъ, какъ революціонера.... но тутъ онъ мнѣ сталъ невыразимо дорогъ, и я долго, долго думалъ о немъ, вспоминая наше знакомство, встрѣчи и единственный случай, когда онъ на меня разсердился. Мы были въ Москвѣ, въ апрѣлѣ 78 г. на одной вечеринкѣ, и, уходя оттуда, онъ сказалъ мнѣ, что та квартира, куда я хочу итти ночевать, не особенно благонадежна, и предложилъ пойти съ нимъ. Помню, когда мы расположились въ отведенной намъ комнатѣ, онъ прежде всего выдвинулъ задвижки окна, и, показывая мнѣ на крышу какого-то сарая, объяснилъ, что въ случаѣ обыска нужно выскочить изъ окна, взобраться на эту крышу, перепрыгнуть на сосѣдній дворъ, имѣющій два выхода на двѣ улицы. Все это было сказано такъ сердечно, толково, серьезно, что видна была сразу его глубокая наблюдательность и предусмотритель-

ность. Затѣмъ онъ снялъ сюртукъ, вынулъ пакетъ съ конспираціями, разобралъ ихъ и, показывая мнѣ маленькій конвертъ, сказалъ: «это я васъ прошу отвезти такому-то; кромѣ того, на словахъ скажите то-то и то-то, но пока, ночью, пусть онъ лучше у меня полежитъ, а завтра, когда мы пойдемъ отсюда, я вамъ его дамъ». Послѣ этого онъ взялъ револьверъ, осмотрѣлъ его, попробовалъ курокъ, убѣдился, что онъ дѣйствуетъ хорошо и что всѣ патроны на мѣстѣ, и только тогда онъ легъ спать полуодѣтый, съ револьверомъ и конспираціями подъ рукой, готовый ко всякимъ случайностямъ.

Легли мы съ нимъ рядомъ и стали сначала очень мирно бесѣдовать объ нашихъ общихъ знакомыхъ, а потомъ разговоръ перешелъ какъ-то на «Чигиринское дѣло», къ которому я относился съ рѣзкимъ порицаніемъ, говоря, что мы должны бороться противъ царскаго самодержавія, а Стефановичъ съ Дейчемъ, вовлекая крестьянъ въ заговоръ посредствомъ подложной «золотой грамоты», отъ царскаго имени, приглашая ихъ организоваться для возстанія, сослужили этимъ службу идеѣ царизма. Михайловъ сталъ горячо защищать это дѣло. Оба мы разгорячились и, наконецъ, онъ даже привсталъ и, опираясь одною рукою на изголовье, сказалъ мнѣ:

«Такъ могутъ разсуждать только очень узкіе люди, для которыхъ форма важнѣе сущности. По вашему, если революція, началась бы не подъ краснымъ знаменемъ, такъ это не есть революція, и этому дѣлу надо отказывать и въ поддержкѣ и въ сочувствіи?»

Я ничего не отвѣчалъ, такъ какъ было уже поздно, и я порядочно утомился, но А. Д. подумалъ, что я почувствовалъ себя оскорбленнымъ его словами, и, снова улегшись рядомъ со мной, спросилъ меня минуты черезъ двѣ-три:

«А что, вы на меня не обидѣлись?»

— Богъ съ вами, чтожъ обиднаго вы мнѣ сказали? Вѣдь если свои мнѣнія излагать всегда въ академической формѣ, безъ жизни, безъ страсти, то уже лучше не спорить....

«Ну, конечно!—Спокойной ночи!»

Какъ часто я удивлялся въ тюрьмѣ живости и точности воспоминаній. Въ такихъ условіяхъ, когда будущаго у человѣка нѣтъ, или, по крайней мѣрѣ, оно таково, что лучше уже о немъ и не думать, настоящее-же, съ одной стороны—мало даетъ пищи уму и сердцу, такъ бѣдно впечатлѣніями, а съ другой—впечатлѣнія эти такого сорта, что иной разъ приходится

въ голову желаніе навсегда избавиться отъ подобныхъ, даже, пожалуй, какихъ бы то ни было, впечатлѣній,—прошлое, зато, захватываетъ все сильнѣе и сильнѣе; вспоминается все то, что на волѣ,—среди быстро мѣняющихся впечатлѣній, массы заботъ и хлопотъ, наполняющихъ жизнь революціонера,—совсѣмъ, какъ будто, забывается; но это только кажется. Прошлое не умираетъ, а лишь скрывается глубоко, глубоко въ самыхъ сокровенныхъ тайникахъ души и, когда человѣкъ обращается къ нему,—словно повинувся какой-то властной силѣ, встаетъ оно яркое, реальное, полное жизни, и снова струны души звучатъ то грустно, то радостно, и снова переживаешь то, что, казалось, уже умерло, забыто и никогда не вернется болѣе...

Однако, объ этомъ скажу далѣе; пока-же буду продолжать свой разсказъ о первыхъ впечатлѣніяхъ моей квартиры. Эта камера была гораздо больше, почти въ полтора раза, чѣмъ покинутая мной; но сразу было замѣтно, что она холоднѣе, благодаря тому, что одна изъ стѣнъ выходила въ подворотню. Зато плѣсени почти не встрѣчалось на стѣнахъ, только въ одномъ углу, да и то немного. Отличалась она отъ № 5 еще и тѣмъ, что печь закрывалась изъ камеры, и закрывать ее долженъ былъ я самъ, по знаку изъ корридора, когда тамъ хлопнуть два раза подрядъ дверцей топки. Въ прежней же моей камерѣ печь закрывалась жандармами изъ цейхгауза. Обстановка была такая-же, какъ и прежде, ибо все мое имущество перенесли сюда. На стѣнахъ было множество надписей, но такъ затертыхъ, что разобрать можно было немного. Въ одной изъ нихъ писавшій жаловался на помѣщеніе его въ Алексѣевскомъ равелинѣ и приводилъ статьи закона, согласно которымъ онъ долженъ идти въ централку, тюрьмы же Алексѣевскаго равелина — нѣтъ въ законѣ. Изъ другой надписи было видно, что она написана человѣкомъ изъ процесса 20 народовольцевъ (9 февраля 82 г.). и писавшій былъ приговоренъ къ смертной казни. Впослѣдствіи я убѣдился, что это нацарапалъ Михайловъ, который первоначально былъ посаженъ въ № 3, а въ № 1 его перевели послѣ смерти Нечаева, сидѣвшаго тамъ съ того времени, какъ были обнаружены сношенія *). Одна надпись сохранилась вполнѣ: «Господь, твори добро народу!» Этотъ Некрасовскій стихъ глубоко тронулъ меня, когда я подумалъ о томъ, кто, гдѣ и въ какихъ

*) Полпвановъ говоритъ здѣсь о сношеніяхъ Нечаева съ Исполнительнымъ Комитетомъ, обнаруженныхъ въ началѣ 1882 г.

условіяхъ писалъ это.... Передо мной вставалъ чудный образъ человѣка самоотверженнаго, съ душой, чуткой къ народному горю, мужественнаго и безкорыстнаго. Я преклонялся передъ этой могучей силой, которую не могутъ сломить всѣ гоненія... «Господь, твори добро народу»! Вотъ какая мольба вырывается изъ сердца этого изстрадавшагося человѣка въ ту минуту, когда онъ себя видитъ погребеннымъ заживо, навѣки отрѣзаннымъ отъ всѣхъ радостей жизни, отъ дѣла, которому онъ посвятилъ себя, отъ товарищей, продолжающихъ еще бороться за это дѣло, и которымъ онъ не можетъ, какъ бывало, подать умный совѣтъ, подѣлиться своей опытностью, даже просто услышать хоть одно слово одобренія. Даже отъ тѣхъ, кто вмѣстѣ съ нимъ былъ посаженъ сюда, онъ отрѣзанъ и живетъ только своимъ внутреннимъ міромъ. Тутъ мнѣ просто стыдно стало той надписи, которой я пытался обезсмертить свое имя на стѣнѣ № 5... не удовольствовавшись тѣмъ, что изобразилъ свое имя, даты ареста, суда и заключенія, я приписалъ еще четверостишіе Байрона: Had hoc we never loved so kindly — Had we never. Never meeted or never departed—We would never been broken hearted.

Теперь мнѣ хотѣлось бы тайкомъ пробраться туда и затереть это злополучное, сентиментальное изліяніе разбитаго сердца. Чортъ-бы его побралъ, это сердце и всѣ сердечныя страданія! Попалъ подъ замокъ да и завопилъ: «Ахъ, еслибъ мы не встрѣчались, ахъ, еслибъ мы не разставались!». Да какой-же чортъ тебѣ велѣлъ встрѣчаться? А если разставаться не хотѣлось, такъ пришилъ бы себя къ юбкѣ, да и кинулъ бы себѣ спокойно, а жаловаться теперь на то, что сердца наши разбиты, нечего: битая посуда два вѣка живетъ. Ахъ теперь, во всякомъ случаѣ, уже поздно,—и я сразу почувствовалъ такой приливъ бодрости, энергіи, вѣры, что легко и свѣтло стало на душѣ, и какъ-то сразу умалились въ моихъ глазахъ всѣ мелкія личныя страданія, какія припились на мою долю.

Съ этого дня для меня началось безусловно *одиночное* заключеніе, продолжавшееся до 4 августа 83 г., когда меня перевели въ № 15, рядомъ съ Колодкевичемъ. Всего, значить, я пробылъ въ такомъ положеніи семь съ половиною мѣсяцевъ, но, по моему опыту, и этого срока достаточно, чтобъ свести съ ума 5 человѣкъ изъ 10. Одиночество мое было такъ абсолютно, что мнѣ случалось не произнести ни одного слова отъ ванны до ванны, т. е. въ теченіе шести недѣль, да и тамъ скажешь только, чтобъ

прибавили горячей или холодной воды, и опять замолчавъ на полтора мѣсяца. Я хорошо помню, что въ теченіе января разъ только зашелъ разговоръ съ Соколовымъ, и очень непріятный разговоръ, по слѣдующему поводу. Въ моей камерѣ былъ въ окнѣ маленькій жестяной вентиляторъ, дюйма три въ діаметрѣ. Наружное отверстіе его было забито кускомъ жести, въ которой для прохода воздуха были пробиты маленькія дырки. Ставши на подоконникъ, я замѣтилъ, что черезъ эти дырки были видны ворота крѣпости, черезъ которыя меня вели сюда, мостикъ и даже нѣкоторая часть полосы земли, окаймлявшей крѣпость, что давало мнѣ возможность видѣть всѣхъ, проходящихъ черезъ мостикъ отъ насъ въ крѣпость и обратно, а потому я увлекся этими наблюденіями, нѣсколько разнообразившими мою скучную и однообразную жизнь.

Съ первыхъ же дней я замѣтилъ, что всякое лицо, — истопникъ съ салазками дровъ, «хлѣбодаръ», везущій намъ «горькій хлѣбъ неволи» на ручной двухколесной телѣжкѣ, докторъ, самъ Соколовъ, наконецъ, — каждое лицо непременно сопровождалось отъ Алексѣевского равелина до воротъ крѣпости и обратно однимъ изъ двухъ унтеровъ, находившихся на дежурствѣ. и унтеромъ изъ жандармскаго караула. Это обстоятельство еще болѣе обезопасивало перестукиванье, такъ какъ унтерамъ было много бѣготни и, сверхъ того, приходилось ждать Соколова, когда тотъ являлся съ ежедневнымъ докладомъ къ коменданту. Направо отъ воротъ виднѣлась въ стѣнѣ пара оконъ съ рѣшетками. Это были окна комнаты, ходъ въ которую шелъ изъ-подъ воротъ крѣпости, и смотритель Алексѣевского равелина встрѣчался тамъ, какъ рассказывали, со всѣми лицами, которыхъ ему нужно было видѣть, въ томъ числѣ и со своей супругой. Я слышалъ, прежде смотритель не имѣлъ права отлучаться въ городъ и даже въ крѣпость дальше этого помѣщенія въ стѣнѣ. Однажды, — помню, это было незадолго передъ масленицей, въ послѣднихъ числахъ января, — я такъ увлекся, что не замѣтилъ подкравшагося къ двери унтера и, сойдя съ окна, увидѣлъ, что глазокъ открытъ и черезъ него на меня смотритъ упорно и укоризненно жандармское око. Глазокъ закрылся, но жандармъ не отошелъ отъ двери и еще раза два-три тихо-тихо поднималъ планочку, которою закрывался глазокъ, и слѣдилъ, не стану-ли я снова на подоконникъ. За обѣдомъ Соколовъ обратился ко мнѣ съ грубымъ выговоромъ:

«Здѣсь нельзя становиться на окно и заглядывать въ вентиляторъ. При томъ тамъ ничего интереснаго нѣтъ: чистое поле и снѣгъ, снѣгъ и поле—больше ничего. На первый разъ я тебя прощаю, но чтобъ я тебя тамъ больше не видалъ!».

И онъ поднялъ ключъ съ угрожающимъ жестомъ.

Мнѣ было такъ мучительно больно выслушивать это замѣчаніе, это милостивое прошеніе «на первый разъ», что я предпочелъ бы быть наказаннымъ безъ этихъ разговоровъ. Конечно, перспектива новаго разговора съ Иродомъ и наказанія за преступное разсматриваніе «чистаго поля и снѣга» не могла меня остановить отъ дальнѣйшихъ наблюденій, но все же нѣсколько дней я лазилъ осторожно, тогда лишь, когда былъ увѣренъ въ своей безопасности. Этотъ инцидентъ тѣмъ болѣе меня удивилъ, что изъ всѣхъ чувствъ сидѣніе въ тюрьмѣ развивается наиболѣе—слухъ, доходящій до поразительной чуткости: послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ пребыванія въ одиночномъ заключеніи, среди той гробовой тишины, которая у насъ царила повседневно, ухо улавливало самый тихій шорохъ, самый легкій звукъ въ корридорѣ и его значеніе, становившееся сейчасъ же понятнымъ. Я, напримѣръ, всегда зналъ, какіе именно унтера на дежурствѣ. Потомъ, сидя въ называвшемся у насъ «большомъ корридорѣ», я очень скоро привыкъ различать походку товарищей и безошибочно опредѣлялъ, кто именно пошелъ сейчасъ на прогулку. Но на этотъ разъ моя чуткость почему-то дремала. Надо прибавить, что потомъ я уже ни разу болѣе не попался.

VIII.

Понятно, что нужно было очень немного времени, чтобъ освоиться со всѣмъ тѣмъ, что могла мнѣ дать новая камера, а дальше началось изо дня въ день все то же убійственное однообразіе. Здѣсь я все больше и больше сталъ жить мечтою, воспоминаніями, фантазіей и утрачивалъ способность къ послѣдовательному логическому мышленію. Часто бывало, что, начиная обдумывать какое-нибудь положеніе, я быстро замѣчалъ, что мои мысли начинаютъ прыгать во всѣ стороны, словно зайцы; въ моемъ воображеніи встаетъ какой-нибудь образъ, живой и яркій, вытѣсняющій все остальное, а затѣмъ—фантазія начала ткать свои узоры, смѣнявшіе другъ друга такъ, какъ будто я смотрѣлъ въ калейдоскопъ. Я утрачивалъ порою всякое

сознаніе мѣста и времени и на гораздо большій срокъ, чѣмъ это случалось со мной, когда я сидѣлъ въ Трубецкомъ.

Цѣлыми днями, недѣлями,—можно сказать, почти все время моего пребыванія въ Алексѣевскомъ равелинѣ, — я жилъ не здѣсь, въ этой холодной и сумрачной одиночной камерѣ, запертый на замокъ, изолированный отъ всего живого, — нѣтъ!—я жилъ среди степи, я слышалъ въ травѣ задорный крикъ коростеля, а тамъ высоко, высоко въ ясномъ безоблачномъ небѣ хищный клекоть парящаго коршуна. Солнце заливало все волнами горячихъ лучей, а легкій вѣтерокъ пробѣгалъ по морю ковыля, и я не могъ оторвать глазъ отъ серебристой волны, бѣгущей куда-то въ безконечную даль...

Я стоялъ у края лѣсного оврага въ чудный осенній вечеръ. Кругомъ ложатся уже тѣни, и только верхушки осины на противоположной сторонѣ оврага освѣщены послѣдними лучами заходящаго солнца, которые бросаютъ золотистые блески на трепещущую, уже покраснѣвшую и начинающую рѣдѣть листву. Въ воздухѣ носится уже тонкій осенній аромат вянущихъ листьевъ, знакомый всякому охотнику,—а на душѣ такъ ясно, такъ хорошо... Вотъ тѣни сгущаются больше и больше, гдѣ-то вдали раздается отрывистое хорканье, и красавецъ вальшнепъ взмываетъ надъ самымъ оврагомъ; вотъ другой, третій—и сердце замираетъ отъ волненія, а руки судорожно сжимаютъ дустволку...

Я лежу на днѣ лодки, подложивъ подъ голову руку, а на другую намоталъ шкотъ. Я слѣжу за облаками, которые вѣтеръ гонитъ по небу, любуюсь начинающейся бурей. Гребни волнъ, катящихся безконечными рядами, покрыты пѣной, — «бѣляки» ходятъ по всей Волгѣ. Вдали виднѣтся неуклюжая массивная бѣляна, сорвавшаяся съ якоря. На палубѣ видно нѣсколько мечущихся растерянныхъ фигуръ, а бѣлянѣ уже воротитъ поперекъ теченія. Не сдобровать ей. Вдругъ, сильный толчекъ, и я слышу знакомый голосъ съ кормы: «Петя!—слышишь?—отдай шкотъ». Черезъ бортъ переплескивается пѣна, и нѣсколько брызгъ попадаютъ мнѣ въ лицо прежде, чѣмъ я успѣваю исправить свою оплошность...

Я стоялъ надъ громаднымъ амфитеатромъ химической аудиторіи. Кругомъ, внизу, подо мной колышется живое море сходки въ Медико-Хирургической Академіи; стоитъ гулъ, средь котораго все-таки упорно прорывается время отъ времени рѣз-

кій голосъ восточнаго человѣка съ очень сильнымъ акцентомъ. Предложеніе—замѣнить уличную манифестацію и подачу петиціи Наслѣднику — посылкой депутатовъ съ этой петиціей къ министру,—окончательно провалилось, но восточный человѣкъ не хочетъ съ этимъ примириться и упорно продолжаетъ выкрикивать свой, остающійся безъ отвѣта, вопросъ: «Нѣтъ!—вы мене скажите: зачѣмъ депутата хватать будутъ?!»—Его особенно возмутилъ одинъ изъ аргументовъ, приводившихся противъ симпатичнаго ему предложенія, состоявшій въ томъ, что депутатовъ перехватываютъ и ничего больше не будетъ...

Потомъ, какъ черная грозовая туча, надвигаются и другія, очень и очень невеселыя воспоминанія. Вотъ передо мной встаетъ памятная ночь послѣдняго времени моей жизни на волѣ. Я сижу за письменнымъ столомъ, сжимая руками горящую голову; сижу, не знаю уже который часъ, съ измученной, разбитой душой, съ туманящимся взоромъ. Душно, убійственно душно; мостовыя, каменные дома, желѣзныя крыши,—все накалилось за день отъ солнечныхъ лучей,—и давно уже, говорятъ, не бывало подобныхъ жаровъ. Открытое окно не приноситъ прохлады, напротивъ—изъ него пышетъ жаромъ, какъ изъ раскаленной печи. Я просто задыхаюсь отъ недостатка воздуха, а въ душѣ у меня жгучая сверлящая боль, подавившая во мнѣ все, и волю, и сознанье. Я смотрю на письменный столъ. Вотъ передо мной письмо, каждое слово котораго ложится на сердце, какъ пылающій уголь. Мнѣ больно, мучительно больно читать его. Я уже знаю его наизусть отъ слова до слова, но не въ силахъ оторвать отъ него глазъ. Наконецъ, я напрягаю волю, откидываюсь назадъ, и мой взглядъ падаетъ на лежащій на столѣ альбомъ, и съ моихъ губъ готово сорваться Некрасовское четверостишіе:

«Пѣсни вѣщія ихъ не допѣты:

«Пали вы жертвою злобы, измѣнъ,

«Въ цвѣтѣ лѣтъ. На меня ихъ портреты

«Укоризненно смотрятъ со стѣнъ!»

Да, мнѣ кажется, что эти милыя, безконечно дорогія лица, смотрятъ на меня съ укоромъ. Мнѣ кажется, что они зовутъ меня къ себѣ, что они упрекаютъ меня за то, что они погибли, а я живъ....

Вотъ изящное лицо красиваго блондина, съ выпуклымъ, высокимъ лбомъ, съ чудными сѣрыми глазами, которые смот-

рять такъ холодно и надменно на этой фотографіи, но которые смотрѣли на меня такъ нѣжно, съ такой лаской, и кажется мнѣ, что онъ говоритъ: «мои кости давно уже истлѣли въ невѣдомомъ мѣстѣ, безъ памятника, безъ креста, и въ то время, когда мое тѣло засыпали негашеною известью, ты весело встрѣчалъ новый годъ, ты жилъ и не отомстилъ за меня!..»

Вотъ другое лицо, — и мнѣ становится страшно: теперь эта кудрявая голова обрита, на плечахъ сѣрая куртка, на ногахъ кандалы, а впереди—долгіе годы страданій, лишеній, униженій... Рядомъ третье лицо, умное, съ выраженіемъ затаеннаго страданія. Онъ сошелъ съ ума въ тюрьмѣ.... Я вспоминаю то время, чистое, хорошее, когда мы, четверо, почувствовали себя связанными на жизнь и смерть, и эту горячую любовь другъ къ другу уносилъ съ собой каждый, уходя изъ жизни. Я вспомнилъ весну 75 г., когда мы (Степанъ Ширяевъ, Шиловцевъ, Бобоховъ и я) были редакторами революціоннаго журнала, который издавалъ нашъ гимназическій кружокъ. Теперь уцѣлѣлъ только одинъ я. Вотъ и еще дорогія лица, съ которыми разлучила меня волна жизни и съ которыми никогда, никогда больше не увидишься.—Развѣ съ Ваничкой? — Онъ пошелъ только на поселеніе. Хорошо это «только»!—Это ужасно!

Вотъ еще воспоминаніе, которое снова поднимаетъ утихшую было боль. Я смотрю на «ея» пледъ, подарокъ, и мнѣ вспомнилась одна изъ немногихъ счастливыхъ минутъ жизни. —Я вспомнилъ такъ живо, какъ она, когда я было сталъ отъ него отказываться, говоря, что это мнѣ совсѣмъ не нужно, улыбнулась и сказала: «ну, мнѣ просто хочется, чтобъ онъ былъ у васъ», и покраснѣвъ, закусилла губку, какъ бы недовольная вырвавшимся у нея полупризнаніемъ. Какъ она мнѣ была дорога въ эту минуту, какъ мнѣ хотѣлось, когда мы поцѣловались на прощанье,—задушить ее въ объятіяхъ и сказать: «вѣдь мы можемъ и не разставаться, мы можемъ и дальше идти рука объ руку на жизненномъ пути. Ты и не подозреваешь, какъ ты мнѣ дорога, какъ нѣжно я тебя люблю. Поѣдемъ вмѣстѣ!».... Теперь уже поздно, теперь уже все кончено, а какъ мы могли бы быть счастливы!—Поздно, поздно!—Ты самъ захотѣлъ этого. ты самъ захотѣлъ создать стѣну между ней и тобой; прошлаго не вернешь, ничего не поправишь!

Я нервно сжимаю руки и гляжу на другой подарокъ, подарокъ моего отца, съ которымъ я никогда не расстаюсь днемъ

и ночью. Я всегда его кладу, каждую ночь, на столъ у кровати. Это — изящный никелированный револьверъ, съ ручкой изъ слоновой кости. Я смотрю на него, и мнѣ думается, что выходъ изъ моего положенія очень и очень простъ: мнѣ стоитъ только протянуть руку и взять этотъ револьверъ; затѣмъ шелкнетъ курокъ, я почувствую на мигъ прикосновеніе холодной стали къ виску; легкое движеніе пальцемъ—и все мое горе, всѣ мои страданія разлетятся вмѣстѣ съ клубомъ дыма, который вырвется изъ дула... Но тутъ, словно молнія, пронизываетъ мой мозгъ сознаніе глубокаго позора даже одной мысли о подобной вещи. Позоръ, позоръ!—думаю я, снова хватаясь за голову,—я—членъ партіи, для принятія въ организацію которой требовалось, между прочимъ, преданность дѣлу организаціи, доходящая до самопожертвованія; я—террористъ и членъ «боевой партіи», убѣжденный революціонеръ,—могъ испытывать подобныя позорныя ощущенія! — Да, позорныя, такъ какъ это было просто дезертирствомъ съ поля сраженія, на глазахъ непріятеля.

Мнѣ удастся, наконецъ, взять себя въ руки. Я вспоминаю, что какъ ни какъ, а теперь я одинъ изъ «трехъ китовъ», на которыхъ поконится вся саратовская революція (центральная группа, состоявшая раньше изъ 5 человекъ, сократилась къ марту до трехъ,—за арестованіемъ двоихъ товарищей, и только къ августу удалось — не пополнить составъ группы, а только намѣтить одного кандидата). Завтра я долженъ быть бодрымъ и спокойнымъ, умѣть поддержать бодрость въ другихъ. Я пойду къ рабочимъ, буду увѣрять, что скоро все поправится, что еще мы «себя «имъ» покажемъ», т. е. говорить то, что, въ разныхъ формахъ, я считалъ нужнымъ твердить имъ для поддержанія престижа партіи, вотъ уже третій мѣсяцъ, искренно желая, чтобъ меня замѣстилъ кто-нибудь другой, чтобъ мнѣ не приходилось распинаться въ справедливости того, въ чемъ я самъ сомнѣвался... Поскорѣ бы сложить свою головушку на какомъ-нибудь дѣлѣ, а не попасться среди топтанья на одномъ мѣстѣ. Каковымъ мнѣ представлялось все, что я дѣлалъ за послѣдніе мѣсяцы.... Однако, уже четвертый часъ, пора ложиться, но мнѣ что-то нужно еще, чего-то не хватаетъ. Ахъ, да!—Нужно принять противный морфій, безъ котораго я, однако, не могу обходиться цѣлую недѣлю. Только морфій даетъ мнѣ кое-какой сонъ, только онъ успокаиваетъ мои совершенно развинченные нервы. Я беру порошокъ, растворяю въ водѣ и, морщась, про-

глатываю эту гадость, давая обѣщаніе, какъ можно скорѣе, при первой возможности, прекратить употребленіе зловреднаго наркотика. Я бросаюсь совершенно измученный на кровать, чтобъ заснуть на 3—4 часа тяжелымъ, вовсе не освѣжающимъ сномъ и проснуться съ тошнотой и головной болью....

Мнѣ мучительно снова переживать все это, я не хочу, я возмущаюсь этимъ кошмаромъ, сномъ на яву, который давить и гнететъ меня, но я не въ силахъ стряхнуть съ себя власть чего-то, что мнѣ кажется лежащимъ внѣ моей воли и сознанія. что, точно какой-то чародѣй, околдовало меня, подчинило своей волѣ, забавляется моей жгучей мукой....

Порой предо мной встаетъ картина историческаго пропалаго. Я видѣлъ улицы Парижа, какими представлялъ ихъ по гравюрамъ XVIII вѣка. Я видѣлъ толпу, фригійскіе колпаки. Я не сплю: я слышу топотъ деревянныхъ сабо по мостовой, и до меня доносятся подминаящіе звуки «карманьолы»:

Que faut-il au républicain?

La liberté du genre humain!

И мнѣ хотѣлось подхватить:

La torche pour le château,

La pique pour le cagot

Et paix aux chaumières.

..... Я видѣлъ стени въ овражистостяхъ Кожихаровскаго форпоста, съ рѣдкой, уже засохшей травой, кучку всадишниковъ надъ которыми колыхается бѣлое знамя съ краснымъ осьмиконечнымъ крестомъ, а въ нѣсколькихъ шагахъ впереди, сидящаго на аргамакѣ брюнета съ черными, какъ смоль, глазами. Два казака подѣхали къ валу, на которомъ растерянно стоятъ солдаты, не слушая приказаній коменданта, велѣннаго стрѣлять въ измѣнниковъ, и читаютъ манифестъ, каждое слово котораго глубоко западаетъ въ сердца слушателей: «и жалую я васъ крестомъ и бородой,—землей и волей....»

..... Я вижу занесенное снѣгомъ поле, въ окрестностяхъ Бѣлой Церкви, среди котораго чернѣется карре Черниговскаго полка; атака еще не отбита, но батарея конной артиллеріи уже выѣзжаетъ. Сейчасъ грянетъ залпъ, другой, и поле покроется тѣлами убитыхъ, и снѣгъ окрасится алой кровью, карре дрогнетъ..... Сраженіе будетъ проиграно, но пока картечь не свалила ихъ героическаго вождя, онъ покоряетъ всѣхъ своей сильной волей, обаяніемъ своей личности. Что думаетъ онъ въ

эту минуту, смотря на мчащиеся орудія?—Сознаетъ ли онъ, что дѣло проиграно?—Носится ли передъ нимъ образъ его грядущей мученической смерти?— Не приходятъ ли ему въ голову его пророческіе стихи, вырѣзанные имъ на каменной стѣнѣ Кіева:

Je passerai sur cette terre,
Toujours rêveur et solitaire,
Sans que personne m'ait connu,
Mais à la fin de ma carrière,
Par un grand trait de lumière
On verra ce qu'on a perdu.....

Но что это творится здѣсь?—Крѣпостныя пушки палятъ ни съ того, ни съ сего, въ корридорѣ слышно какое-то шипучканье, бѣготня взадъ и впередъ. Межъ рavelиномъ и крѣпостью тоже бѣгаютъ... Что-то творится неладное!—Соколовъ пробѣгаетъ по корридору, звеня шпорами; я слышу черезъ вентиляторъ, что онъ вполголоса и торопливо что-то говорить жандармамъ; онъ бѣжитъ назадъ въ свое логовище, опять выходитъ оттуда и что-то шепчетъ часовому въ корридорѣ. Я дошелъ до послѣдней степени напряженія. Вотъ въ крѣпости грянуло дружное «ура», вырвавшееся изъ сотенъ грудей, и одновременно слышенъ топотъ шаговъ чelовѣка, бѣгущаго черезъ мостки.... Безумная мысль мелькаетъ въ головѣ, я стискиваю руки и думаю, что началось возстаніе; офицерская организація увлекла за собою солдатъ, крѣпость въ нашихъ рукахъ!—Сейчасъ ворота рavelина затрещатъ и рухнутъ подъ ударами прикладовъ и..... вмѣсто инсургентовъ, пришедшихъ, именемъ «державнаго народа», объявить мнѣ, что я свободенъ, — ко мнѣ входятъ Продъ со свитой и даютъ мнѣ водянистыя щи съ заткалой размазней.

Въ первый моментъ я смотрю на нихъ съ удивленіемъ, словно еще не вполнѣ очнувшись отъ сна, потомъ растерянно сажусь за столъ и машинально начинаю ѣсть, а мысль снова ушла уже далеко, далеко отсюда. Факты моей жизни, картины историческаго прошлаго, фантазія и дѣйствительность, все это перепутывалось, какъ я раньше выразился, точно сонъ на яву. И тогда время для меня не существовало. Дни, недѣли, мѣсяцы проходили съ головокружительной быстротой, и я просто изумился, когда наступила Пасха. Кажется, недавно была первая недѣля поста, памятная потому, что сплошь всю недѣлю была постная пища; такъ недавно, чуть не вчера, перевели меня въ

этотъ номеръ, и вдругъ оказалось, что съ той поры прошло 3 мѣсяца слишкомъ.

Невесело встрѣтилъ я Пасху въ этомъ году отчасти потому, что не было привычнаго пасхальнаго угощенія (дали намъ на первый день два яйца и ломтикъ сдобнаго хлѣба, на который была положена ложка подслащеннаго творогу), а также еще потому, что кромѣ всего вышеописаннаго, несомнѣнно заставлявшаго предполагать первыя проявленія душевной болѣзни, со мной въ мартѣ начало твориться что-то странное. Вставая по утрамъ, я отхаркивалъ кровь. днемъ бродилъ вялый, какъ муха зимою, стала по временамъ нападать на меня страшная апатія, полное безразличіе ко всему окружающему; вечеромъ жаръ, а ночью прерывистый сонъ съ какими-то страшными сновидѣніями. Я сначала не придавалъ этому особаго значенія, но потомъ замѣтилъ, что ступни ногъ стали пухнуть, на голенихъ высыпали какія-то бурья пятнышки, а изъ десенъ стала показываться кровь. Скоро стало даже больно ходить.

Однажды, на Пасху, я пережилъ тяжелую минуту. Надо сказать, что съ ранняго дѣтства моимъ самымъ любимымъ временемъ года была весна, лучше сказать, начало весны, первые дни пробужденія природы къ новой жизни, первые ростки новой молодой зелени, первые распустившіеся листочки, проталы. ледоходъ, разливъ, прилетъ птицъ,—все это заставляло всегда сильно биться мое сердце. Въ тюрьмѣ особенно тоскливо бывало въ это время, особенно рѣзко чувствовалась противоположность между собой, похороненнымъ заживо, и первымъ трепетомъ пробуждающейся жизни. Въ нашемъ садикѣ стояли уже порядочныя лужи, клумбы оттаяли, и луковичныя растенія жадно вбирали въ себя солнечные лучи. Ихъ ростки зеленѣли и набухали. Подсѣжники уже цвѣли, а задорное щебетанье воробьевъ, прыгавшихъ по вѣткамъ, купаясь въ солнечномъ свѣтѣ, говорило, что пришелъ конецъ холодамъ и снѣгамъ, что наступило царство тепла и свѣта. Пасха, нужно сказать, была въ этомъ году (1883 г.) поздняя. Со дня своего ареста я не видалъ своей фізіономіи, и мнѣ захотѣлось посмотрѣть, что я изъ себя представляю. Я нагнулся немного надъ одной изъ лужъ и, увидавъ отраженіе своего лица, просто отшатнулся...

Изъ-подъ сѣрой арестантской шапки на меня смотрѣло не мое, а какое-то чужое, безумное лицо, худое, изможденное, со страшнымъ, дикимъ выраженіемъ въ усталыхъ глазахъ. Эти

дикіе глаза, въ которыхъ было что-то совсѣмъ мнѣ чуждое, особенно испугали меня,—я въ нихъ замѣтилъ одну особенность: необычайно широко раскрытые зрачки,—отъ которой сердце у меня дрогнуло. Мнѣ вспомнилось, какъ въ 81 г. я былъ у родителей одного изъ моихъ друзей, сопедшаго съ ума въ тюрьмѣ и послѣ выпущеннаго на поруки. Пригласили они специалиста-психіатра, чтобъ изслѣдовать его, и меня, котораго онъ еще узнавалъ и помнилъ, думая, что въ моемъ присутствіи онъ будетъ спокойнѣе относиться къ появленію и разспросамъ какого-то незнакомаго человѣка. Осмотрѣвъ больного и поговоривъ съ нимъ, этотъ психіатръ вышелъ въ другую комнату, гдѣ ждали родители, и, въ очень, правда, туманныхъ выраженіяхъ, сказалъ имъ, что особыхъ надеждъ на выздоровленіе питать нельзя; мнѣ же, когда мы остались одни, онъ прямо сказалъ: «онъ плохъ, бѣдняга, очень плохъ, и едва ли когда-нибудь поправится. Вы обратили вниманіе на его зрачки, какъ они *расширены!*»—Теперь эти слова пришли мнѣ на память.

Мнѣ стало тяжело смотрѣть на себя, и я пошелъ было по дорожкѣ, но, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, остановился: до меня долетѣлъ такъ хорошо мнѣ знакомый, звучный и, какъ будто, грустный свистъ кроншнепа. Я поднялъ голову и увидѣлъ высоко, высоко въ небѣ пару кроншнеповъ. Тяжело и часто взмахивая крыльями, летѣли усталыя птицы по направленію къ взморью, и по ихъ полету привычный глазъ охотника видѣлъ сразу, что они очень утомились, но вдали—взморье, острова, заросли, гдѣ они могутъ спокойно и безопасно отдохнуть, покормиться, собраться съ силами и летѣть дальше на сѣверъ, гдѣ они найдутъ свой родной лугъ, обросшій кругомъ темными елями... И снова, и снова раздавался ихъ звучный и грустный крикъ, которымъ они словно подбадривали другъ друга. Мнѣ стало невыразимо тяжело, когда я вспомнилъ о тѣхъ дняхъ, когда этотъ свистъ раздавался въ ушахъ не арестанта, больного, измученнаго, а—пышащаго здоровьемъ, полнаго энергіи, юноши, передъ которымъ былъ раскрытъ весь широкій Божій свѣтъ, юноши, чувствовавшаго себя свободнымъ, какъ вѣтеръ, гордаго сознаніемъ своей независимости.

Я присѣлъ на скамейку, такъ какъ ходить было уже больно, и задумался... Мнѣ такъ стало тяжело, что я не выдержалъ и, не дождавшись окончанія полагавшагося для прогулки 15 минутнаго срока, я ушелъ съ гулянья. Соколовъ во-

шелъ за мной въ камеру и, къ моему удивленію, спросилъ: почему не гуляется?»

Я подумалъ, что въ это время вся тюрьма была уже въ цынгѣ и я, вѣроятно, не послѣднимъ поддался ей.

«Ноги болятъ», отвѣтилъ я неохотно.

— А, ну, покажи-ка!—Можетъ быть, доктора надо?

Я показалъ распухшую ступню.

— Ну, пока еще ничего особеннаго не замѣчается,—сказалъ Иродъ. Но на другой день привелъ доктора.

«Ну, что у тебя болитъ?» спросилъ Вильямсъ; когда я молча показалъ ему ногу, онъ воскликнулъ:

«Ну, какъ же это ты такъ запустилъ! — Давно бы надо сказать» и, обернувшись къ Соколову, сказалъ съ беззвучнымъ старческимъ смѣхомъ: «цынга, цынга, настоящая цынга!».

Иродъ улыбнулся.

«Ну, а десны, какъ?»—снова обратился ко мнѣ докторъ. «Открой ротъ! Ну, такъ, такъ, кровоточать... а еще что чувствуешь?».

Я сказалъ о лихорадкѣ.

«Пришлемъ лекарство», закончилъ онъ, уходя.

Начиная со слѣдующаго дня, мнѣ стали давать лошадиныя порціи полутора-хлористаго желѣза три раза въ день, дали полосканье изъ дубовой корки и хинину. Хинину приходилось принимать очень курьезнымъ образомъ: Соколовъ, очевидно, считалъ немыслимымъ давать порошокъ въ пакетикѣ, считая бумагу чѣмъ-то законопреступнымъ; поэтому, въ первый же разъ онъ велѣлъ унтеру, принесшему порошокъ, высыпать хинину на переплетъ библии и сказалъ, указывая ключемъ:

«Нужно слизнуть!» (sic).

Раза два я пробовалъ слизывать, но не вытерпѣлъ и сказалъ доктору, чтобы хинину завертывали въ папиросную бумагу. Соколовъ согласился на это съ тѣмъ, чтобъ я глоталъ въ его присутствіи, и каждый день приносилъ мнѣ кусочекъ папиросной бумаги, на которую унтеръ высыпалъ хинину. Я завертывалъ и глоталъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ «недреманнаго ока», какъ я иногда мысленно называлъ Соколова.

Первое время, несмотря на лекарство, болѣзнь моя все прогрессировала. Пароксизмы лихорадки мучили меня ежедневно утромъ съ 9 ч. до 11¹/₂—12 часовъ. Я лежалъ тогда пластомъ, не будучи въ состояніи двинуть рукой и, по временамъ, въ

бреду. Можетъ быть, впрочемъ, это и не былъ, собственно говоря, бредъ, а тѣ галлюцинаціи слуха, которыя долго потомъ меня преслѣдовали. Я слышалъ то голоса, то музыку, то оперное пѣніе и относился къ этому, какъ къ чему-то вполне естественному; чего и слѣдовало ожидать. По временамъ, я, какъ будто, приходилъ въ сознаніе, чувствовалъ жажду и жадно пилъ воду; всегда стоявшую у моего изголовья; потомъ я опять впадалъ въ полубабытье и, правду сказать, большихъ страданій не испытывалъ. Боль въ ногахъ, когда я лежалъ тихо, была незначительная, въ родѣ легкаго ревматизма, но при ходьбѣ нужно было ступать очень медленно и осторожно, и иной разъ, особенно утромъ, спросонья, забудешься, да и ступишь на полъ неосторожно, такъ потомъ и опрокинешься на кровать, засовывая въ ротъ уголь подушки или край одеяла, чтобъ не кричать. Тогда ощущеніе бывало такое, какъ будто наступилъ на гвозди, часто наставленные торчкомъ. О воздухѣ я скучалъ очень и все-таки, кое-какъ, медленно, придерживаясь за стѣну, выходилъ въ тѣ дни, когда приходился мой чередъ. Понятно, ходить по садiku я не могъ, а, добравшись до скамейки, просиживалъ тамъ все свое время и уходилъ, также ковыляя и прикусывая губы отъ боли. Хорошо, что гулять меня всегда брали однимъ изъ первыхъ, да и вообще прогулка кончалась тогда рано потому, что большинство товарищей не вставали съ постели. Пароксизмы лихорадки начинались у меня такъ черезъ полтора часа по возвращеніи съ гулянья и, слѣдовательно, не могли мнѣ мѣшать. Утреннее кровохарканье, вызываемое застоями крови въ сосудахъ, ничего опаснаго и непріятнаго не представляло, но то, что творилось у меня во рту,—было убійственно непріятно. Десны страшно распухли, покрылись язвами, изъ которыхъ сочилась буроватая кровь; зубы выпали изъ лунокъ и до того расшатались, что я не могъ жевать даже мякиша чернаго хлѣба. Они, при самомъ легкомъ давленіи, расходились въ разныя стороны, и поднималась страшная боль. Послѣ всѣхъ они, за исключеніемъ одного, вновь окрѣпли, такъ что я отдѣлался, сравнительно, очень легко, потерявъ одинъ только зубъ, впослѣдствіи вывалившійся. Небо тоже покрылось кровоточащими ранами; и съ десенъ и съ неба постоянно отдѣлялись клочки омертвѣлой ткани, такъ что за время цынги у меня и небо и десны совершенно обновились. Значить—даже барышъ получился! Во всякомъ случаѣ, физическихъ страданій

было очень мало, а нравственное состояніе стало подь конецъ даже завиднымъ.

Да, говорю это не шутя! — Еслибъ мнѣ пришлось тогда умирать, то легко бы мнѣ было. Всякое волненіе, надежда, отчаяніе, всё тѣ разнохарактерныя сильныя чувства, которыя до сихъ поръ были во мнѣ, замерли, уступивъ мѣсто спокойному примиренію съ судьбой, полному равнодушію къ жизни и къ смерти: былъ я тогда въ какомъ-то полудремотномъ состояніи. мысль работала вяло, сознание окружающаго притупилось, воспоминанія о прошломъ, которое теперь словно подернулось дымкой какой-то, не возбуждали больше ни острой боли, ни сожалѣнія, ни отчаянія, и въ эти минуты я припоминалъ слова Будды: «лучше стоять, чѣмъ ходить; лучше сидѣть, чѣмъ стоять; лучше лежать, чѣмъ сидѣть; а лучше всего—Вѣчный Покой». Этотъ Вѣчный Покой сталъ теперь для меня не отвлеченнымъ метафизическимъ понятіемъ, а вещью реальною, осязательною, которую теперь только понималъ мой умъ и чувствовало мое сердце. Нирвана стала меня тянуть къ себѣ, стала казаться высокимъ блаженствомъ и, лежа въ полусознательномъ состояніи, слушая, словно сквозь сонъ, какую-то *berceuse*, которую мнѣ кто-то напѣвалъ на ухо, я думалъ, что хорошо было бы заснуть подъ звуки этого голоса и больше уже никогда не просыпаться....

Черезъ нѣкоторое время, въ маѣ, докторъ назначилъ мнѣ полбутылки молока въ день. Помню, какъ торжественно въ первое же утро изрекъ Соколовъ, указывая на жандарма, переливавшего молоко въ мою кружку: «дается молоко!». При настоящемъ состояніи моего здоровья вообще и зубовъ въ частности, эта кружка молока послужила мнѣ не только легкой, питательной, но и совершенно достаточной пищей; раньше же мое питаніе состояло изъ полудюжины ложекъ супа, или шей, откуда я старательно выбиралъ капусту и все твердое, что было не по зубамъ, и маленькаго кусочка хлѣбнаго мякиша, который я тщательно размачивалъ и разминалъ въ ложкѣ моего «бульона». Особенно плохо было по постнымъ днямъ, когда пища была неудобосъѣдомая и для здороваго человѣка, ибо мнѣ, какъ и остальнымъ цынготнымъ, продолжали давать по средамъ и пятницамъ постную пищу. Мнѣ казалось потомъ, что эта кружка молока помогла больше всѣхъ лекарствъ, и уже въ іюнѣ я сталъ себя чувствовать значительно лучше, но десны все еще

были сильно разрыхлены и кровоточили, хоть и не такъ сильно, какъ прежде. Лихорадка меня оставила, наконецъ, ноги, правда, побаливали, но дѣло шло на поправку. Какъ только это обнаружилось, у меня отобрали молоко. Это было сдѣлано въ концѣ іюня или началѣ іюля, и меня крайне возмутило тогда, но я не сказалъ ни слова ни смотрителю, ни доктору, и мое выздоровленіе, какъ я скоро убѣдился, пошло гораздо медленнѣе.

Въ іюнѣ умеръ отъ цынги Клѣточниковъ; за этой жертвой послѣдовали и другія. Нужно сказать, что Соколовъ отлично зналъ Клѣточникова, когда тотъ былъ столоначальникомъ въ III Отдѣленіи, а потомъ въ департаментѣ государственной полиціи. Это обстоятельство еще болѣе обостряло злобу Ирода къ Клѣточникову. Какъ и всѣ, Клѣточниковъ заболѣлъ цынгой, но въ болѣе тяжелой формѣ, чѣмъ это было у нѣкоторыхъ,—у меня, напримѣръ. Возмущенный тѣмъ, что его все таки заставляютъ ѣсть постную пищу, онъ началъ голодать, требуя молока и бѣлаго хлѣба. Голодалъ онъ 9-10 дней, но потомъ Иродъ,—который заходилъ къ нему послѣ раздачи обѣда, садился со словами: «ѣшь!—не уйду, пока не будешь ѣсть!» какъ-то съумѣлъ заставить его ѣсть. Поѣвши два дня, Клѣточниковъ сталъ голодать снова и, хотя ему дали требуемое, но организмъ его такъ былъ уже подточенъ болѣзнью, что онъ умеръ чуть ли не черезъ недѣлю послѣ полученія молока.

Около половины іюня у насъ произошло важное событіе: Алексѣевскій равелинъ посѣтилъ товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ (и вмѣстѣ съ тѣмъ командиръ корпуса жандармовъ), генералъ-маіоръ Оржевскій, и комендантъ крѣпости, генералъ Ганецкій. Первый — достаточно пзвѣстенъ и не такъ давно сошелъ со сцены (онъ умеръ въ половинѣ 90 годовъ, занимая постъ Виленскаго ген.-губернатора. Относительно второго, можно сказать, что это былъ одинъ изъ ревностныхъ сподвижниковъ Муравьева-вѣшателя и, подавляя возстаніе въ Литвѣ, прославился своей грубостью, жестокостью и тупоуміемъ).

Еще до обѣда я замѣтилъ, что ожидаютъ кого-то. Я слушалъ, какъ Соколовъ заставлялъ команду продѣлывать сабельные приемы, а потомъ принялся муштровать часового, должно быть, добиваясь, чтобы онъ научился произносить такъ, какъ это считалъ нужнымъ Соколовъ, фразу, съ которой онъ долженъ обратиться къ начальству:

«Ваше Высокопревосходительство, честь имѣю доложить, что въ Алексѣевскомъ рavelинѣ караулы Его Императорскаго Величества стояли спокойно!»

Эту фразу повторяли разъ десять, и все Соколовъ былъ недоволенъ: «скоро, слишкомъ скоро, а ты вотъ такъ», и Соколовъ, а за нимъ и жандармъ, читали эту служебную фразу, какъ молитву, съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой, при чемъ, и солдатъ, и офицеръ, оба выговаривали «въ Алексѣевскимъ рavelини».

Вскорѣ послѣ обѣда, когда я, думая, что начальство придетъ позднѣе, сошелъ съ окна и прилегъ было на кровать. вдругъ послышался за окномъ топотъ шаговъ, потомъ кто-то. — конечно Ганецкій, — поздоровался, и въ отвѣтъ послышалось: «здравія желаемъ, Ваше Высокопревосходительство!» а затѣмъ, не то часовой, не то старшій унтеръ изъ караула, отчеканилъ. дѣлая паузу послѣ каждого слова, вышеприведенную фразу о спокойствіи карауловъ Его Величества.

Я бросился на окно, но было уже поздно: начальство уже не находилось въ моемъ полѣ зрѣнія. Черезъ нѣкоторое время начался обходъ. Зашли и ко мнѣ Оржевскій съ Ганецкимъ. Первый былъ высокій бѣлокурый и очень молодой (лѣтъ 35-38) генералъ, съ правильнымъ и даже симпатичнымъ лицомъ, хоть и былъ порядочный звѣрь, но держалъ себя безукоризненно вѣжливо. Снявъ фуражку, чего не сдѣлалъ Ганецкій, ставшій близъ печки, съ руками, заложеными въ карманы пальто. Оржевскій первый поклонился мнѣ и спросилъ о здоровьѣ.

«Скажите, пожалуйста, какъ вы думаете, отчего у васъ цынга?»

Я отвѣтилъ, что это весьма понятно, ибо странно было бы, еслибъ при такихъ условіяхъ не было цынги.

«Вѣдь мясо вамъ даютъ? капусту тоже? квасъ тоже пьете?»

Я отвѣтилъ, что та пища, которую мы ѣдимъ, совершенно неудовлетворительна; что давать цынготнымъ постную пищу. — это больше, чѣмъ странно; что мы лишены чистаго воздуха, а въ камерахъ онъ прескверный, и я думаю, что люди, ставившіе насъ въ такія условія, предвидѣли каковы будутъ послѣдствія. Я замѣтилъ, что это не понравилось Оржевскому, который, пробормотавъ, что «лѣтомъ воздухъ въ городѣ и вездѣ нехорошъ», обратился ко мнѣ съ вопросомъ:

«А скажите, пожалуйста, что именно вы бы считали для себя полезнымъ теперь?».

Я сказалъ, что нужно прежде всего упразднить постную пищу, улучшить скоромную, что прогулка на 15 минутъ черезъ день—это просто смѣхъ. Затѣмъ я прибавилъ, что меня лишили молока, какъ только я началъ поправляться, хотя докторъ говорить, что цынга у меня еще не прошла. Оржевскій, видимо, смутился. Онъ ничего мнѣ не отвѣтилъ, только два раза сказалъ: «до свиданія, до свиданія», и торопливо вышелъ. Но зато Ганецкій отозвался. Обернувшись ко мнѣ спиной и направляясь къ выходу, онъ изрекъ:

«Зачѣмъ такъ себя вели, чтобъ попасть-то сюда? Нелегальнымъ путемъ...» Тутъ онъ врыкнулъ и шагнулъ черезъ порогъ. Нескладно выражался бравый генералъ, но справедливо. Хотя не въ томъ смыслѣ, въ какомъ онъ хотѣлъ употребить выраженіе о «нелегальномъ пути»: и тюрьма-то эта была незаконная, и сажали въ нее незаконнымъ путемъ.

Дня черезъ четыре послѣ этого посѣщенія сказался его результатъ. За обѣдомъ намъ подали прекрасныя щи, какія едѣлали-бы честь хорошему ресторану, и даже такая мелочь, какъ морковь, наръзанная звѣздочкой, показывала радикальное измѣненіе нашего стола. Мяса во щахъ было много и хорошаго сорта. На второе дали кашу, которая просто плавала въ маслѣ. Съ этого времени, вплоть до перевода въ Шлиссельбургъ у насъ установилось такое меню: 2 раза въ недѣлю битни въ сметанѣ, въ воскресенье жареная говядина съ картофелемъ; разъ, кажется, въ четвергъ макароны и 3 раза каша изъ разной крупы. На первое давали—щи, зеленые щи, со сметаной и яйцомъ (в. постомъ), борщъ, въ который клали тоже яйцо. разные супы. По воскресеньямъ давали еще пирогъ съ рисомъ и яйцами.

Помню, какъ въ первое такое воскресенье Соколовъ сказалъ мнѣ, указывая на столъ: «дается пирогъ!» и посмотрѣлъ на меня такъ, какъ будто ожидалъ отъ меня выраженія восторга, но я только спросилъ: «съ чѣмъ?» «Съ рисомъ»,—отвѣтилъ онъ обычнымъ отрывистымъ тономъ.

Гулять стали водить ежедневно и на цѣлыя 45 минутъ. Для освѣженія воздуха камеры выставляли даже впоследствии зимнія рамы, и открывали окно въ теченіе того времени, когда заключенный гулялъ, а у тяжело больныхъ, которые не могли

вставать уже съ постели — отворяли окно на весь день до вечера, съ тѣмъ, однако, чтобъ не вставать и не подходить къ окну; но тѣ, кому выпадала такая милость, и не могли уже этого дѣлать... Затѣмъ, стали давать читать книги духовнаго содержанія: четьи-минеи, собраніе бесѣдъ (Филарета, Никанора). «Христіанское чтеніе», духовный журналъ 1836—1841 года и т. п. вещи, большею частью изрядный хламъ, но изъ котораго выдѣлялись 2 книги: Святая Земля Диксона, написанная, какъ и всѣ его произведенія, умно и живо, и Стоглавъ — важный историческій документъ, — дѣянія собора, созваннаго Іоанномъ Грознымъ и получившаго названіе Стоглаваго. Не безъ интереса я прочелъ кое-что и въ четьи-минейхъ. Во всякомъ случаѣ, послѣ столь продолжительной голодовки, я съ жадностью наклепывался на всякую печатную бумагу.

Измѣненіе режима пришло, однако, поздно для нѣкоторыхъ изъ товарищей. Въ 20-хъ числахъ іюля умеръ Лангансъ. По вѣронсповѣданію онъ былъ католикъ и просилъ позвать ксендза. Ему не отказали въ этомъ, обѣщали даже, но... онъ такъ и умеръ безъ напутствія священника своего исповѣданія. Вѣроятно, начальство нашло неудобнымъ послать ксендза въ равелинъ и оставлять его съ глазу на глазъ съ государственнымъ преступникомъ.

О каждой новой смерти можно было узнавать по лампамъ. Дѣло въ томъ, что лампы, выносившіяся утромъ изъ нашихъ камеръ, ставились на подоконники окошекъ стѣны корридора. каждая противъ той камеры, которой она принадлежала; и всегда число лампочекъ соотвѣтствовало числу заключенныхъ, такъ что легко было, пересчитавъ ихъ, убѣдиться въ убыли одного изъ товарищей. Для тѣхъ-же, кто зналъ число камеръ и ихъ расположеніе, не оставалось труда сообразить, какой № занималъ погибшій.

IX.

4 августа 83 г., когда я собрался уходить съ прогулки, ко мнѣ подошелъ Соколовъ и сказалъ:

«Такъ какъ ты ведешь себя тихо, то я перевожу тебя въ другой №, лучший!»

Меня немножко покорибило такое одобреніе, и я, боясь продолженія какихъ-либо наставленій и поученій, поторопился

сказать, что, уходя изъ камеры, позабылъ сдать прочитанную книжку Христіанскаго Чтенія и потому прошу взять ее со стола и перемѣнить.

«Двѣ сразу дамъ!»—неожиданно отвѣтилъ Соболевъ.... и положилъ мнѣ руку на плечо, желая тронуть мое зачѣрствѣлое сердце такой лаской и вниманіемъ.

Придя въ новую мою камеру № 15, я былъ очень обрадованъ. Съ обѣихъ сторонъ у меня были сосѣди. Раньше въ этой камерѣ сидѣлъ Мирскій, увезенный не задолго передъ тѣмъ въ Сибирь, благодаря, какъ говорилъ потомъ, хлопотамъ принимавшихъ въ немъ участіе польскихъ магнатовъ и Дрентельна, за покушеніе на жизнь котораго Мирскій и судился*). То обстоятельство, что это была жилая камера, а не запущенный подвалъ, какъ мое первое обиталище (№ 5), имѣло большое значеніе. Камера эта оказалась сухой, теплой и хорошо вентилируемой, благодаря тому, что въ стѣнѣ, выходившей въ корридоръ, былъ хорошій вентиляторъ, какъ и въ № 5. Однако, несмотря на первое радостное впечатлѣніе, невесело провелъ я первый мѣсяцъ на новой квартирѣ.

Рядомъ со мной въ № 14 умиралъ Баранниковъ, съ другой стороны, въ № 16—лежалъ пластомъ Колодкевичъ, не встававшій съ постели уже болѣе 2 мѣсяцевъ, въ № 17 сидѣлъ сошедшій съ ума Игнатъ Ивановъ, въ № 18—Арончикъ, еле передвигавшій ноги, въ № 19—доживалъ свои послѣдніе дни Тетерка.

Первое время, больше мѣсяца, я жилъ, если не въ такомъ же одиночествѣ, какъ въ № 3, то все-таки безъ всякихъ сношеній, и я, право, не знаю, что было лучше: то-ли мое прежнее одиночество, или же сознаніе, что совсѣмъ близко отъ тебя, отдѣленный только стѣною, томится въ предсмертныхъ мукахъ твой товарищъ,—можетъ быть, твой старый другъ. Стоны Баранникова рѣзали мнѣ сердце; разъ мнѣ удалось слышать нѣсколько словъ, сказанныхъ имъ во время обхода. Услыхавъ разговоръ, я бросился къ двери, приложилъ ухо, но

*) Одна моя знакомая рассказывала мнѣ весной 79 г., что, когда она была у Дрентельна, дня черезъ 3-4 послѣ этого покушенія, съ какой-то просьбой о мужѣ, сидѣвшемъ тогда въ тюрьмѣ,—онъ выразилъ свое удовольствіе по поводу того, что Мирскому удалось скрыться: «Пожалуйста, передайте ему, чтобы онъ былъ спокоенъ за свою жизнь, если его и арестуютъ: я никогда не допущу, чтобы изъ-за меня повѣсили человѣка».

успѣлъ только разобрать его вопросъ: «а чай горячій?» На это Соколовъ отвѣтилъ: «горячій, горячій...» И вышелъ изъ камеры.

Эти три слова были сказаны такъ, что сердце сжималось: видно было, что говорить умирающій... На другой день, послѣ обѣда, къ Баранникову привели священника, пробывшаго въ камерѣ минутъ 15-20, что видимо смутило Ирода, ходившаго по корридору все это время. Онъ 2 раза подходилъ къ двери и спрашивалъ: «батюшка, скоро?» На другой день, на разсвѣтѣ (это было, помнится, 8 августа), меня разбудили громкіе стоны Баранникова, надрывающіе душу, но черезъ нѣсколько минутъ они стали стихать, стихать и замерли. Прошло еще минуты 2-3, и раздался еще одинъ тяжкій и послѣдній стонъ, тяжкій и мучительный: все было кончено!

Въ корридорѣ было слышно, какъ они на цыпочкахъ подходили къ двери и долго смотрѣли въ глазокъ.

Въ камеру вошли, однако, только тогда, когда начался обычный утретній обходъ. Я приложилъ ухо къ стѣнѣ и замѣтилъ, что тамъ ничего не тронули, ничего не поставили и, постоявъ тихо съ минуту, вышли и заперли двери. Послѣ окончанія обхода я услышалъ знакомую походку и покашливаніе доктора. Онъ и Соколовъ вошли въ камеру Баранникова на очень короткое время и молча вышли. Черезъ часъ пришелъ Иродъ съ солдатами; слышна была какая-то возня; потомъ понесли по корридору что-то тяжелое...

Вскорѣ, не позднѣе 20 августа, умеръ Тетерка, сидѣвшій въ № 19 и насъ осталось трое: въ № 18 Арончикъ, очутившійся, такимъ образомъ, изолированнымъ, въ № 16 Колодкевичъ и въ № 15 я. Я говорю трое, ибо не считаю помѣщавшагося Игната Иванова (въ № 17), котораго, къ тому-же, скоро увезли (10—15 сентября) въ сумасшедшій домъ.

Я постоянно прислушивался къ тому, что дѣлается въ № 16, и съ радостью замѣчалъ признаки того, что мой сосѣдъ начинаетъ поправляться. Наконецъ, ему принесли костыли, и онъ началъ кое-какъ двигаться по камерѣ. Въ тотъ же, кажется, день онъ подошелъ къ стѣнѣ и вызвалъ меня. Оба мы были очень обрадованы новымъ знакомствомъ, только Колодкевичъ говорилъ, что онъ не въ силахъ простоять болѣе 10 минутъ подрядъ, и потому первое время наши бесѣды были очень кратки, отрывочны, безсвязны.

Я не былъ знакомъ съ нимъ на волѣ, но всегда слышалъ

о немъ самые симпатичные отзывы, какъ о человѣкѣ, который не только представляетъ изъ себя крупную силу, но и человѣкъ, который дѣйствовалъ просто обаятельно на всѣхъ, приходившихъ съ нимъ въ соприкосновеніе. Я это испыталъ на себѣ самомъ, полюбивъ горячо и нѣжно этого чуднаго человѣка, который сыгралъ крупную роль въ моей жизни, которому я такъ много обязанъ, смерть котораго была для меня такимъ тяжелымъ ударомъ... Ему я обязанъ тѣмъ, что не сошелъ съ ума или не покончилъ съ собой на второй же годъ заключенія. Съ его стороны я видѣлъ столько участія, заботливости, женственной, просто, ласки. Память его дорога и священна для меня, и горько было сознавать, что мнѣ не суждено никогда встрѣтиться съ нимъ, обнять его и поговорить не черезъ стѣну, а лицомъ къ лицу...

Бесѣда съ Колодкевичемъ служила для меня большою отрадой. Помимо того, что я узнавалъ много интереснаго, я не чувствовалъ себя одинокимъ. Однако, несмотря на смягченіе режима, настроеніе мое было не веселое, а смягченія эти продолжались. Колодкевичъ сказалъ мнѣ, что стали давать чай тѣмъ, кто просилъ этого у доктора, но мнѣ было такъ противно не только просить, но и просто разговаривать съ этими иродами, что я обходился и безъ него. Соколову страшно нравилось, когда его просили о чемъ-нибудь, и его злило мое упорное молчаніе. Къ концу весны мои коты дошли до такого состоянія, что подошвы отстали, пальцы торчали наружу и, понятно, когда я возвращался съ прогулки, вода, которой они всегда были наполнены, хлюпала на весь корридоръ. Соколовъ это видѣлъ, но молчалъ, ожидая просьбы съ моей стороны. Не дождавшись, однако, не вытерпѣлъ и разъ вошелъ въ камеру вслѣдъ за мною, а одинъ изъ унтеровъ сталъ у дверей, держа почему-то за спиной, — чтобъ я не замѣтилъ, что-ли, — пару новыхъ котовъ.

«У тебя, кажется, башмаки прохудились?» — сказалъ Соколовъ.

— Кажется, — отвѣтилъ я, приподнимая ногу: подошвы отстали на половину своей длины.

«Что же ты раньше не сказалъ? За тобой нужно, какъ за малымъ ребенкомъ, смотрѣть!»

Соколовъ обернулся, сдѣлать неизбѣжный жестъ ключемъ, и произнесъ:

«П—сть!» Унтеръ вынулъ спрятанные башмаки и подаль ихъ мнѣ.

Съ Колодкевичемъ мы сблизились скоро, и меня поразила его, просто невѣроятная, наблюдательность. Какъ онъ могъ такъ хорошо войти въ мое положеніе. понять мое душевное состояніе, не видя меня, не слыша даже моего голоса, — это такъ и осталось для меня неразрѣшимой загадкой. Сколько внимательности, такта, чуткости, заботливости обнаружилъ онъ по отношенію ко мнѣ. Вотъ примѣръ: онъ зналъ, какой тѣсной дружбой былъ связанъ я съ Ширяевымъ, а потому замѣчательно искусно избѣгалъ разговоровъ о его кончинѣ, и я такъ и не могъ добиться отъ него, какимъ именно способомъ Степа лишилъ себя жизни. Всякій разъ, когда я объ этомъ заговаривалъ, онъ очень ловко переводилъ разговоръ на другое. Однажды онъ прямо сказалъ: «ну, что за охота говорить о такихъ вещахъ? Вотъ лучше что: меня интересуетъ....» и задалъ мнѣ самъ какой-то вопросъ. Часто, когда я приходилъ въ то состояніе, которое уже раньше описывалъ, и начиналъ метаться по камерѣ, какъ дикій звѣрь въ клеткѣ, Колодкевичъ начиналъ стучать своимъ костылемъ о стѣну. Я подходилъ, и онъ начиналъ меня увѣщевать — не уподобляться «дикому вепрю», заводилъ разговоръ о чемъ-нибудь такомъ, что могло направить мои мысли въ другую сторону, развлечь меня. Я хорошо помню, какъ однажды въ то время, когда уже сильно начала меня преслѣдовать мысль о самоубійствѣ, онъ навелъ разговоръ на мою семью, заставлялъ рассказывать объ отцѣ, сестрахъ, даже нашемъ имѣніи; просилъ описать нашъ садъ, и самъ потомъ сталъ мнѣ рассказывать объ одномъ садѣ въ Сидневѣ (имѣніе близкаго друга Колодкевича, Давиденко, повѣшеннаго въ Августѣ 79 года*). Сколько разъ бывало, что я, озлобленный, измученный, дошедшій почти до отчаянія, подходилъ къ стѣнѣ на зовъ Колодкевича и отходилъ съ ясной, примиренной душой, съ улыбкой иногда.

Я помню одну только «ссору». Мы горячо спорили, и каждому хотѣлось выложить весь свой багажъ по этому вопросу. Вышло такъ, что мы оба въ жару спора стали, не слушая одинъ другого, стучать каждый свое; я остановился первый и.

*) По процессу Чубарова, Лизогуба и др.

такъ какъ не могъ сразу разобрать, что онъ именно хотѣлъ сказать, то не поставилъ точки, ожидая продолженія, но Колодкевичу показалось, что я на него обидѣлся. Онъ отошелъ отъ стѣны, а послѣ, какъ самъ говорилъ, не рѣшался позвать меня. Когда на другой день я позвалъ его и что-то спросилъ, онъ, отвѣтивъ на мой вопросъ, полюбопытствовалъ—улеглось-ли мое раздраженіе? Я даже не сразу понялъ, что онъ этимъ хочетъ сказать, и все въ результатѣ кончилось хохотомъ.

Будь я въ ту пору предоставленъ самому себѣ, дѣло мое было бы очень и очень плохо, но и теперь, несмотря на благотворное сосѣдство Колодкевича, настроеніе мое становилось все ужаснѣй и ужаснѣй. Я замѣтилъ, что меня преслѣдуютъ такъ называемыя «навязчивыя идеи», нелѣпость которыхъ была мнѣ ясна, но отдѣлаться отъ нихъ—не было силъ. Появлялись иногда какія-то странныя ощущенія. Помнится, разъ я положительно почувствовалъ присутствіе чего-то инороднаго внутри моихъ мышцъ. Это поразило меня. Потомъ это «что-то» стало шевелиться и, какъ будто, прокладываетъ себѣ ходы въ моемъ тѣлѣ. Трихины!—промелькнула мысль: это жандармы нарочно накормили меня трихинознымъ мясомъ, и тутъ я вспомнилъ все то, что читалъ о страданіяхъ при зараженіи трихинами, и особенно описанія того, что происходитъ при проникновеніи трихинъ въ мозгъ. Потомъ явилась другая мысль: «ну, плохо дѣло, братъ, если ты до такихъ нелѣпостей додумался. Теперь трихинамъ къ тебѣ въ мозгъ забираться нечего: тамъ и безъ того «муха» сидитъ». Я страшно боялся тогда помѣшательства, и, какъ нарочно, моя фантазія начинала рисовать картину за картиной, одна другой ужаснѣе, отвратительнѣе, и въ эти ужасныя минуты, когда я представлялъ себя ползающимъ на четверенькахъ и рычащимъ по звѣриному, утратившимъ человѣческій образъ и подобіе — мнѣ такъ становилось жутко, что я говорилъ: нѣтъ, лучше смерть! И вотъ, мысль о смерти, и смерти добровольной, казалась отнюдь не ужасной, напротивъ — манящей къ себѣ, сулящей уничтоженіе всякаго горя и страданій: мысль о смерти, какъ о благодѣтельной избавительницѣ отъ угрожающей мнѣ ужасной перспективы, эта мысль стала все чаще и чаще приходить мнѣ въ голову, и тѣ возраженія противъ самоубійства, которыя я находилъ раньше, блѣднѣли и теряли свою силу. Въ самомъ дѣлѣ, что же меня ожидаетъ дальше? Изоляторъ или домъ умалишенныхъ. Однажды одинъ изъ товарищей, именно,

Мирскій, увезенный впоследствии въ Сибирь, сказалъ въ разговорѣ съ докторомъ: «когда меня увезутъ въ Сибирь....» но Вильмсъ не далъ ему докончить, захохоталъ и сказалъ: «я старикъ, и голова у меня тутъ посѣдѣла на службѣ, а не помню, чтобы отсюда куда-нибудь увозили иначе, какъ на кладбище или въ сумасшедшій домъ!»

Правъ былъ старикъ, — чего же еще мнѣ ждать? О моей смерти все равно не будетъ извѣстно, да я и умеръ уже для всѣхъ тѣхъ, очень немногихъ, кому я былъ когда-то дорогъ. Съ прошлымъ меня теперь ничто не связываетъ: всѣ нити жизни оборваны. Дѣло? Да развѣ есть хоть какая-нибудь надежда на то, что мнѣ когда-нибудь дано будетъ счастье снова служить ему, имѣть возможность громко сказать хоть одно слово, которое прорвалось бы сквозь толщу окружающихъ меня стѣнъ? Наконецъ, развѣ моя смерть не сослужить службу дорогому мнѣ дѣлу: быть можетъ, теперь единственный способъ быть полезнымъ это—прибавить еще одно имя къ числу жертвъ самодержавія? Не могу не сказать, чтобы я не противился искушенію, нѣтъ, я, порою, упорно боролся съ нимъ, говорилъ, что у меня еще вся жизнь впереди, что я не знаю всего, происходящаго на волѣ. Теперь, можетъ быть, партія снова окрѣпла, можетъ быть, она идетъ вѣрными и твердыми шагами къ побѣдѣ. Я считаю себя похороненнымъ заживо, но еще не было тюрьмы, съ которой, рано или поздно, не установились бы сношенія. Были сношенія и здѣсь, будутъ когда-нибудь опять, хотя бы черезъ 3 года, черезъ 5 лѣтъ. Тогда возможно все то, что кажется невысказаннымъ теперь. Въ теченіе осени перемѣна нашего режима, сосѣдство товарища, къ которому я такъ привязался, повліяло на меня очень благотворно; со временемъ, однако, тяжелое, угнетенное настроеніе стало все чаще и чаще овладѣвать мной.

Новый, 1884 г., я встрѣтилъ очень грустно: мнѣ вдругъ такъ живо вспомнилась послѣдняя встрѣча на волѣ. Тогда собралась на моей «конспиративной» квартирѣ тѣсная товарищеская семья; наша группа была тогда еще въ полномъ составѣ; положеніе дѣлъ общало успѣхъ; я былъ исполненъ самыхъ радужныхъ надеждъ. Всѣ мы были веселы, не знали о томъ, что готовилась намъ поднести судьба. Теперь вотъ уже второй годъ я встрѣчаю въ тюрьмѣ, и будущее мнѣ кажется такимъ мрачнымъ, такимъ непригляднымъ. Когда, въ отвѣтъ на позд-

равленія Колодкевича, я сказалъ, что новый годъ не можетъ намъ принести ни радости, ни надеждъ,—кромѣ, развѣ, надежды на скорѣйшее переселеніе туда, «гдѣ нѣтъ ни плача ни воздыханія»,—то онъ возразилъ мнѣ, что измѣненія, произведенныя въ нашей тюрьмѣ, имѣютъ большое значеніе. Кто знаетъ? Можетъ быть, теперь правительство уже рѣшило пойти на уступки и дать конституцію. Мнѣ же всегда казалось, что смягченіе тюремнаго режима означаетъ подавленіе революціоннаго движенія, что влечетъ за собою и ослабленіе интенсивности той злобы, какую правительство обнаружило къ намъ. Усиленіе грубости обращенія, введеніе новыхъ стѣсненій служило для меня указаніемъ на обостреніе борьбы, усиленіе партіи, возобновленіе террористическаго движенія, и я думалъ въ такія минуты; «ну, и круто имъ, должно быть, приходится!»

Мое мрачное настроеніе усиливалось со дня на день, и къ началу марта довело меня до двухъ покушеній на самоубійство. Какъ я уже говорилъ, наши печи закрывались вьюшками изъ камеры. Это навело меня на мысль покончить съ собою посредствомъ угара, что казалось наиболѣе простымъ и дѣйствительнымъ средствомъ. Въ моемъ распоряженіи не было ничего остраго, колющаго, приладить петлю тоже негдѣ было. Можно было, пожалуй, задушиться, но не повѣситься. Въ февралѣ я нѣсколько разъ дѣлалъ опыты, стараясь уловить удобный моментъ для закрытія трубы. Закроешь слишкомъ рано—будетъ мало угара, да и камера наполнится дымомъ, что можетъ обратить вниманіе жандармовъ; закроешь поздно—не будетъ достаточнаго количества окиси углерода, чтобы отравиться.

И вотъ, въ первыхъ числахъ марта, я, достаточно уже ознакомившись съ вопросомъ о наимыгоднѣйшемъ моментѣ закрытія трубы, поставилъ, въ одно прекрасное утро, у печки стулъ, всталъ на него и, положивши вьюшки, прильнулъ ртомъ къ отверстію, стараясь вдохнуть возможно большее количество ядовитаго газа. Когда я почувствовалъ, что голова начинаетъ сильно кружиться, ноги дрожать и сгибаются подъ тяжестью тѣла, я сошелъ со стола, шатаясь направился къ кровати, на которой и легъ лицомъ внизъ, медленно дыша и съ каждой минутой все болѣе и болѣе утрачивая сознаніе. Я боялся оставаться долѣе у печки, ибо могъ, наконецъ, свалиться со стула, и мое паденіе привлекло бы, пожалуй, вниманіе жандармовъ, кромѣ того, я упалъ бы на полъ и не могъ бы, конечно, под-

няться, а между тѣмъ, тамъ пришлось бы дышать наиболѣе холоднымъ и тяжелымъ, слѣдовательно и наиболѣе чистымъ воздухомъ. Въ глазахъ у меня ходили зеленые круги, въ вискахъ стучало, какъ молотомъ, наконецъ, ускоренное бѣненіе сердца отразилось какимъ-то болѣзненнымъ потрясеніемъ, сознаніе помутилось; затѣмъ я почувствовалъ полную невозможность двинуть хотя бы пальцемъ. Колодкевичъ нѣсколько разъ звалъ меня, стучалъ даже, какъ онъ послѣ рассказывалъ, въ стѣну костылемъ, но я уже ничего не слышалъ.

Передъ самой раздачей обѣда я началъ какъ будто приходить въ себя. Хотя я старательно заперъ вентиляторъ, хотя камера была заперта, а въ окнахъ были еще двойныя рамы. но свѣжій воздухъ все-таки просачивался сквозь поры дерева и маленькія скважинки и щелки дверей; сверхъ того, моя камера была очень большая (9 шаговъ въ ширину, 11 въ длину. при высотѣ въ 4½ арш). Приходя въ себя, я почувствовалъ крайнюю слабость, головокруженіе, мучительную головную боль и тошноту. Когда же начали раздавать обѣдъ, меня вырвало. Я настолько былъ слабъ, что не могъ уже не только какъ-нибудь скрыть слѣды рвоты, но и подняться съ постели.

Вошелъ Соколовъ и сразу увидѣлъ что-то неладное. Обведя камеру пытливымъ шпіонскимъ взоромъ, онъ подошелъ ко мнѣ и, указывая на слѣды рвоты, спросилъ меня:

«Что это? Что съ тобой случилось?»

— Ничего, еле-еле проговорилъ я въ отвѣтъ; у меня и языкъ плохо ворочался.

«Ты что-нибудь съѣлъ?»—злбно сверкнувъ глазами, прошипѣлъ Иродъ. Я закрылъ глаза, чтобы не видѣть противной морды, и отрицательно двинулъ головой, что вызвало страшнѣйшую боль.

«Нѣтъ, однако»,—не унимался мой мучитель: «отъ хлѣба да кваса ничего не можетъ быть.... Вотъ мы посмотримъ!» угрозавшимъ тономъ закончилъ онъ, указывая на рвоту; онъ подозвалъ унтера. Въ рукахъ его оказалось неизвѣстно откуда взвѣшшееся ведро.

«Мы доктору это покажемъ»,—счелъ нужнымъ пояснить Иродъ.

Мнѣ поставили на столъ обѣдъ, но ѣсть я не могъ вплоть до вечера слѣдующаго дня, и жандармы молча убирали нетронутую пищу и ставили свѣжую. Черезъ два часа явился

докторъ. Онъ потянулъ носомъ, подошелъ къ печкѣ, открылъ и сунулъ въ нее зажженную спичку: она погасла. Вильмсъ прямо подошелъ ко мнѣ. Щупая пульсъ, онъ пристально смотрѣлъ на меня, беззвучно считая губами.

«Отравленіе окисью углерода»,—обратился онъ къ Соколову: «и всѣ признаки на лицо. Взгляните-ка, Матвѣй Ефимовичъ, какія у него красныя губы!»

Тутъ я узналъ впервые имя нашего зрителя. Должно быть и Вильмсъ и Соколовъ были нѣсколько взволнованы, такъ какъ одинъ позволилъ себѣ такую невозможную вещь, какъ назвать зрителя по имени въ присутствіи арестанта, а другой не обратилъ вниманія на такое чудовищное нарушеніе инструкціи.

«Что-бы такое для тебя сдѣлать?» продолжалъ Вильмсъ, снова обратившись ко мнѣ: «пришлю тебѣ сейчасъ чего-нибудь, но первое дѣло—тебѣ нужно на воздухъ. Прежде всего—свѣжій воздухъ!»

«Не могу», прошепталъ я.

«Если желательно, можно вынести,» вмѣшался Продъ: «но, во всякомъ случаѣ, тебѣ дверь оставлю открытой,» что онъ и сдѣлалъ.

Изъ печки вынули вьюшки и, по знаку Соколова, унесли изъ камеры. Вентиляторъ открыли и дверь оставили открытой. Соколовъ посмотрѣлъ на меня, вышелъ въ корридоръ и ровно полчаса ходилъ взадъ и впередъ передъ моей камерой. Часа въ три онъ снова пришелъ съ предложеніемъ итти, и опять такъ сказалъ, въ отвѣтъ на мое отрицательное движеніе: «въ такомъ случаѣ, открою дверь». Мнѣ страшно даже вспомнить ту головную боль и тошноту, которыя я испытывалъ цѣлыя сутки. Вечеромъ Колодкевичъ опять звалъ меня—я уже слышалъ хорошо, но такъ былъ слабъ и разбитъ, что не могъ двинуться съ мѣста.

На слѣдующій день я тоже не могъ ѣсть за обѣдомъ, но головная боль стала утихать, и я нѣсколько окрѣпъ, такъ что, когда Соколовъ явился послѣ обѣда, снова предлагая гулять, и прибавилъ очень обстоятельно: «нельзя не гулять, докторъ положительно велитъ гулять,»—то я нашелъ достаточно силы, чтобы, придерживаясь рукой за стѣну, кое-какъ проковылять въ садикъ, гдѣ и просидѣлъ указанныя 45 минутъ на моей любимой скамеечкѣ, что стояла подъ липой.

Съ прогулки я вернулся довольно уже окрѣпшимъ, такъ что могъ уже вечеромъ постучать немного съ Колодкевичемъ. по нравственное состояніе было ужасно.

Какимъ образомъ я могъ такъ угорѣть, объ этомъ разговору не было, но было видно, что Соколовъ все понималъ, и эта мысль меня страшно тяготила; такъ мнѣ казалось тогда глупымъ положеніе человѣка, неудачно покусившагося на самоубійство и остающагося послѣ этого жить. Колодкевичъ, страшно взволнованный, что сразу было замѣтно по его стуку, осыпалъ меня градомъ нѣжныхъ упрековъ. Между прочимъ онъ сказалъ, что дурно было съ моей стороны не подумать о немъ, который, конечно, понималъ, что случилась какая-то «оказія»; что я не принималъ во вниманіе, каково ему переживать мои «безумства»: вѣдь теперь мы составляемъ другъ для друга весь міръ, и я не принялъ во вниманіе, какъ мы тѣсно теперь связаны, что значитъ для одного изъ насъ утрата товарища. Все еще больной, онъ до смерти ходилъ на костыляхъ, еле держась на ногахъ. Онъ долго, долго бесѣдовалъ со мной въ этотъ вечеръ и все добивался, чтобъ я успокоилъ его и далъ честное слово не дѣлать подобныхъ вещей. Мнѣ было очень и стыдно и больно, но не могъ я дать честнаго слова. потому что бѣсъ сильно искушалъ меня, и въ головѣ сложился новый планъ дѣйствій, который я и привелъ въ исполненіе дня черезъ три.

На слѣдующій день я замѣтилъ, что за мной слѣдятъ усленно, и я рѣшилъ не давать пока никакихъ поводовъ къ подозрѣніямъ, а что подозрѣнія у зрителя были, это мнѣ стало яснымъ тогда же, когда у меня унесли вьюшки. На слѣдующій день за обѣдомъ я сказалъ объ этомъ Соколову.

«Вьюшки имѣть тебѣ нѣтъ надобности», отчеканилъ Продъ.

«Но вѣдь теперь морозы стоятъ, у меня холодно будетъ».

«Не будетъ. Стану топить печь два раза въ день, три раза... а вьюшекъ имѣть тебѣ нѣтъ надобности».

Соколовъ сдержалъ свое слово: ни разу не могъ я пожаловаться на холодъ, и до послѣднихъ дней проживанія въ этой тюрьмѣ я не видѣлъ больше вьюшекъ. Когда я передалъ этотъ разговоръ Колодкевичу, то онъ замѣтилъ: «умно дѣлается». И снова принялся меня образумливать; но у меня еще не истощился запасъ болѣзненной энергіи, направленной на одну точку. Я оторвалъ отъ простыни двѣ полосы и сдѣлалъ петлю, концы

которой привязалъ къ столбику изголовья кровати на высотѣ аршина отъ пола; затѣмъ надѣлъ петлю и опустился, вытянувшись во весь ростъ и стараясь упираться въ полъ только носками башмаковъ, чтобъ какъ можно большее количество тяжести ложилось на петлю и ее затягивало: но дѣло шло у меня плохо: петля затягивалась медленно; при томъ, когда въ головѣ начинало мутиться, я терялъ контроль надъ своими мышцами, ноги сгибались и я опирался въ полъ уже колѣнками; кромѣ того и руки безсознательно упирались въ полъ. Я всталъ, поправилъ петлю, много разъ подрядъ ее затягивалъ, чтобы она хорошенько обмялась, а надѣвъ ее снова, я заложилъ руки за спину и засунулъ кисти въ брюки, чтобъ гарантировать себя отъ произвольныхъ движеній; кромѣ того я затянулъ предварительно петлю, насколько можно было, руками, такъ что глаза налились кровью, и я сталъ хрипѣть. У меня зазвенѣло въ ушахъ и глаза, выпячивавшіеся съ мучительной болью, стало завлакивать туманомъ. Пробудъ я въ такомъ положеніи минутъ 20-30 еще — я могъ-бы задушиться, но судьба рѣшила иначе. Время я выбралъ, казалось мнѣ, самое удобное, послѣ 9 часовъ вечера, когда Иродъ обходилъ тюрьму и заглядывалъ въ «глазокъ» каждой камеры. Я выждалъ этотъ обходъ, убѣдился, что онъ ушелъ въ свое логово, и черезъ полчаса, должно быть, приступилъ къ исполненію своего намѣренія; но въ этотъ день Соколову вздумалось въ 10 часовъ пройти неожиданно, и, взглянувъ въ глазокъ, онъ убѣдился, что не все обстоитъ благополучно въ № 15. Я не слышалъ уже ни шаговъ, ни звона шпоръ, ни шелканья заслонкой глазка, что всегда дѣлалось, если арестантъ не оказывался въ полѣ зрѣнія подошедшаго наблюдателя.

Соколовъ отперъ дверь, и грохотъ засова я услышалъ. Мысль быть застигнутымъ на мѣстѣ преступленія, какъ молнія, пробѣжала по мнѣ. Это казалось мнѣ столь ужаснымъ и унижительнымъ, что я, уже совсѣмъ одурѣлый отъ прилива крови въ головѣ, уподобился страусу, прячущему свою голову, и напругъ всю свою волю, всю свою силу, чтобъ подняться, не сообразивъ въ ту минуту, что дѣло мое, во всякомъ случаѣ, глупо... Что со мной было потомъ, и рассказывать не берусь... Соколовъ велѣлъ меня тотчасъ обыскать:

«Быть можетъ, у него другая петля про запасъ спрятана!».

Унтеръ потащилъ съ меня рукавъ, но, должно быть, отчаянное чувство прочелъ Соколовъ въ выраженіи моего лица,

потому что торопливо остановилъ унтера, стащившаго одинъ рукавъ:

«Ну, ну, не надо... Оставь!»

У меня сейчасъ-же унесли полотенце и простыню. Первое черезъ недѣли три, или мѣсяцъ, дали опять, но простыни я былъ лишенъ до самаго конца. Можетъ быть, и дали-бы, но просить я не хотѣлъ.

Колодкевичъ замѣтилъ, что я опять выкинулъ какого-то «козла», но, слыша мои шаги, убѣдился въ томъ, что я живъ, и не хотѣлъ меня тревожить разговорами. Утромъ, когда я его спросилъ, какъ всегда, о здоровьѣ, онъ отвѣтилъ:

«Я чувствовалъ-бы себя хорошо, если-бы вы, дорогой мой, не огорчали меня и не отравляли мнѣ жизни своими нелѣпыми выходами».

Я ему рассказалъ все и, когда упомянулъ объ отобраніи полотенца и простыни, онъ сказалъ:

«Это первый порядочный поступокъ въ жизни смотрителя. Право, я начинаю съ нимъ мириться: въ немъ, оказывается, все-таки есть нѣчто человѣческое!»

Тутъ у насъ произошелъ разговоръ, въ концѣ котораго я не устоялъ и далъ ему мое честное слово, которое онъ съ меня давно уже требовалъ.

Милый, дорогой мой товарищ! какъ мнѣ тяжела была потомъ мысль, что никогда я его не увижу, никогда не выскажу ему всего того, что накопилось въ сердцѣ: много-ли, въ самомъ дѣлѣ, скажешь черезъ стѣну, при томъ еще условіи, что стучать приходится воровски, да къ тому-же, одинъ изъ собесѣдниковъ такъ плохъ, что, даже на костыляхъ, ему больно и трудно стоять болѣе 10-20 минутъ сряду!...

Переживъ этотъ кризисъ, я снова сталъ поправляться душевно, снова начали въ моемъ сердцѣ пробиваться ростки, и снова сталъ я смотрѣть на жизнь бодрѣе и спокойнѣе. Черезъ нѣсколько дней зашелъ ко мнѣ докторъ и, послѣ обычнаго разговора, спросилъ:

«Ну, а настроеніе какъ? — Подъ кровать больше не полѣземъ?»

Я отвѣтилъ ему, что о настроеніи мы лучше ужъ не будемъ разговаривать: тутъ разговоры не помогутъ.

«Зачѣмъ такъ мрачно смотрѣть? Я, вотъ, старикъ, сѣдой весь, а жить все-таки хочется; а ты — вонъ какой молодой: у

тебя послѣдній зубъ мудрости только въ прошломъ году прорѣзался. Жизнь твоя только началась: все еще у тебя впереди!»

Я сказалъ ему, что это такой вопросъ, который каждый рѣшаетъ самъ для себя по своему, а Соколовъ вмѣшался тутъ въ разговоръ и обратился ко мнѣ, сказавъ:

— «Ну, какая тебѣ надобность вѣшаться» (слово въ слово). «Ужъ на меня, кажется, не можешь пожаловаться: я не только не притѣснялъ тебя — слова худого не сказалъ. Я за тобой смотрю, какъ за роднымъ сыномъ, а вѣшаться тебѣ не могу позволить: этого требуетъ долгъ службы и человѣчества (sic)».

— «Ну, какое ужъ тамъ «человѣчество!»—Еслибъ въ васъ было хоть что-нибудь человѣческое, вы посмотрѣли-бы, да и пошли своей дорогой. «Зачѣмъ вы мнѣ мѣшали?»

«Какое же это будетъ человѣчество—въ петлѣ тебя оставить!—Я за тебя передъ начальствомъ отвѣчаю; къ тому же, теперь все дѣлается къ лучшему. Правительство у насъ милостивое (sic); всего можно ожидать!»

— «Чего тутъ лучшаго ждать? Ну, а милость вашего правительства мы видѣли! Сколько человѣкъ вы здѣсь цынгой уморили?»

— «Ну, что было—объ этомъ говорить не будемъ... Было, положимъ, а теперь все (движеніе ключомъ отъ себя вправо) здѣсь дѣлается къ лучшему, всего можно ждать. Ты какъ знаешь, что тебя ждетъ, что съ тобой будетъ?»

— «Министромъ буду!»—отвѣтилъ я съ раздраженіемъ.

— «И это возможно!» — пресерьезно замѣтилъ Иродъ и вышелъ.

Совсѣмъ было оба они, и Соколовъ и Вильмсъ, на людей стали походить и, припрятавъ на время волчьи зубы, начали вилять лисьимъ хвостомъ. Вскорѣ послѣ этого, ихъ либерализмъ дошелъ до того, что оба они старались избѣгать употреблять мѣстоименія и говорили безлично. Иногда откажешься итти гулять, а Соколовъ и спрашиваетъ:

«Почему не гуляется? — Если не здоровится, то можно доктора позвать».

Въ мартѣ было у насъ большое горе: умеръ Михайловъ, такъ и просидѣвшій изолированнымъ все время заключенія до послѣднихъ дней своей жизни. Я уже говорилъ о томъ, что можно было вести счетъ заключеннымъ по числу лампочекъ, вы-

ставляемыхъ на окна. Будучи на прогулкѣ, я наблюдалъ за ними и пересчитывалъ ихъ, но вотъ, однажды, я не нашелъ на знакомомъ мнѣ окнѣ маленькаго корридора лампочки: что-то случилось—и я сталъ съ удвоеннымъ вниманіемъ слѣдить за всѣмъ, что тамъ творилось. Вслѣдствіе увеличенія прогулки до 45 минутъ, она тянулась до самаго обѣда, даже мнѣ случалось гулять и во время раздачи; утренній же обходъ и прежде совпадалъ съ началомъ прогулки, такъ что, слѣдя за отпираемыми дверями, тоже можно было вести счетъ товарищамъ, а иногда, лѣтомъ особенно, удавалось слышать кое-какіе обрывки разговоровъ съ унтеромъ или смотрителемъ, по которымъ составлялось нѣкоторое представленіе о состояніи здоровья того или другого товарища.

Мои наблюденія въ теченіе послѣднихъ дней удостовѣрили меня въ справедливости печальнаго предположенія: ни лампочка не появлялась на окнѣ, — ни дверь № 1 никогда не открывали.

Х.

Въ апрѣлѣ 84 г. мы получили, наконецъ, новыхъ товарищей, что внесло большое оживленіе въ нашу затворническую жизнь. Къ намъ перевели нѣсколько человекъ, сидѣвшихъ раньше на каторжномъ положеніи въ Трубецкомъ, изъ карійцевъ, переведенныхъ въ Петропавловскую крѣпость и помилованныхъ, по процессу 18 народовольцевъ (мартъ 83 года). Помилованіе имъ было объявлено на коронацію 15 мая 83 г. Всѣмъ шестерымъ: Юрію Богдановичу, Грачевскому, Савелію Златопольскому (братъ Льва, осужденнаго по процессу 20 народовольцевъ 9 февраля 82 г.), лейтенанту Буцевичу, Клименко и Телалову,—повѣшеніе было замѣнено каторгой.

Телаловъ умеръ въ Трубецкомъ еще въ 83 г. Остальные же пятеро были въ числѣ 22 человекъ, составившихъ первый контингентъ Шлиссельбуржцевъ. Судьба ихъ была такова:

1. Клименко—повѣсился въ октябрѣ 84 г.
2. Буцевичъ—умеръ отъ чахотки въ апрѣлѣ 85 г.
3. Златопольскій—умеръ въ декабрѣ 85 г.
4. Грачевскій—сжегъ себя, облившись керосиномъ. въ октябрѣ 87 г.
5. Богдановичъ—умеръ отъ чахотки въ концѣ іюля 88 г.

Въ теченіе пяти лѣтъ всѣ эти яко-бы помилованные, были замучены. Стоило ли послѣ этого и казнить?

Переводъ ихъ въ Алексѣевскій былъ вызванъ тѣмъ, что нужно было очистить мѣсто для слѣдственныхъ, а кромѣ того, желаніемъ начальства дать нѣсколько поотдохнуть тѣмъ, кого берегли для Шлиссельбурга, такъ какъ въ Трубецкомъ, благодаря многочисленности заключенныхъ, прогулки продолжались минутъ 10—15, т. е. втрое меньше, чѣмъ у насъ.

Савелій Златопольскій попалъ въ № 7, который раньше занималъ Лангансъ. Богдановича, Мышкина и Буцевича посадили къ намъ въ корридоръ. Ко мнѣ въ сосѣдство попалъ Буцевичъ (№ 14); Мышкинъ очутился между Арончикомъ и Колодкевичемъ (№ 16), а Богдановича загнали на край свѣта, въ послѣднюю камеру (№ 19). Буцевичъ и тогда уже былъ боленъ чахоткой, которая, годъ спустя, свела его въ могилу. Кромѣ того, онъ былъ въ какомъ-то угнетенномъ психическомъ состояніи. Только потомъ, въ Шлиссельбургѣ, я узналъ, кто былъ моимъ сосѣдомъ въ равелинѣ. Буцевичъ былъ глухъ ко всѣмъ моимъ обращеніямъ и зовамъ и ни разу мнѣ не отвѣтилъ.

Помню, въ первый же день, когда я услышалъ шаги въ камерѣ, пустовавшей все время послѣ смерти Баранникова, я четыре раза подолгу выстукивалъ «кто вы?»—Выстучалъ затѣмъ свою фамилію, Колодкевича, но напрасно. Вечеромъ Колодкевичъ спрашиваетъ меня:

«Кто вашъ сосѣд?»

— Оболтусъ,—отвѣтилъ я съ раздраженіемъ: звалъ, звалъ и не дозволялся. Вотъ еще вечеромъ попробую!

«Дайте же человѣку очухаться.—Вѣдь это для него первый день; онъ еще ни въ чемъ разобраться не можетъ. Вы такъ запугаете своего оболтуса, что онъ никогда и не рѣшится стучать. Можетъ быть онъ теперь и хотѣлъ бы, но не знаетъ условій и порядковъ здѣшнихъ. Вотъ я «своего» не трогаю: пусть себѣ денекъ, другой оправится, присмотрится!»

Щедрина перевели изъ № 4 въ № 6, и кто именно сидѣлъ въ №№ 1, 3, 4, 5—не знаю точно. Знаю только, что тамъ были Грачевскій и Минаковъ. «Оболтусъ» Колодкевича—позвалъ его въ тотъ же вечеръ и оказался Мышкинымъ.

Тутъ начались оживленные разговоры по всему корридору. Колодкевичъ, поговоривъ съ Мышкинымъ, шелъ сейчасъ же ко мнѣ и передавалъ новости изъ такого тюремнаго центра цивили-

лизации, какъ Трубецкой бастіонъ. Отъ Мышкина я узналъ, что, кромѣ 8 человѣкъ, привезенныхъ въ Питеръ раньше, проведено было въ Трубецкой, кромѣ него, еще 5 человѣкъ изъ карійцевъ: Юрковский, Минаковъ, Крыжановскій, Долгушинъ и Малавскій.

Изъ этихъ 6 человѣкъ — Долгушинъ, Мышкинъ, Юрковский, Минаковъ и Крыжановскій были въ числѣ бѣжавшихъ съ Кары въ маѣ 82 г.

Долгушину надбавили 15 лѣтъ каторги за пощечину, которую онъ далъ въ 81 г. смотрителю Красноярскаго острога (первоначально онъ былъ осужденъ въ 1874 г. на 10 лѣтъ и до 81 г. содержался въ харьковской централѣ, а въ этомъ году всѣхъ центральныхъ перевели на Кару, по дорогѣ и случилось съ нимъ это происшествіе).

Малавскій бѣжалъ изъ Красноярскаго острога (въ 81 г.), но черезъ нѣсколько дней былъ арестованъ въ Красноярскѣ же на той квартирѣ, гдѣ укрывался.

Судьба Малавскаго была замѣчательно трагична. Онъ былъ арестованъ осенью 77 г. по чигиринскому дѣлу, и сидѣлъ въ кievскомъ острогѣ. Для освобожденія сидѣвшихъ по этому дѣлу, въ мартѣ 78 г., Фроленко поступилъ въ надзиратели острога, и въ первыхъ числахъ мая благополучно вывелъ изъ тюрьмы Стефановича съ Дейчемъ и Бохановскаго. Малавскій тоже могъ бы уйти, но отказался, думая, что ему ничего особеннаго не будетъ. Чигиринское дѣло дало два процесса: процессъ интеллигентныхъ участниковъ этого дѣла и особый процессъ крестьянъ—человѣкъ 40 съ лишнимъ. Главные виновники бѣжали, и изъ 7 человѣкъ перваго процесса серьезно осуждены были только двое: Малавскій на 4 года каторги и Юлія Круковская—на поселеніе. Это было осенью 79 г., и осужденные, на свою голову, подали кассационную жалобу на приговоръ кievской судебной палаты. Въ сенатѣ это дѣло пересматривали въ 81 г., вскорѣ послѣ 1 марта, и сенатъ отмѣнилъ приговоръ палаты, замѣнивъ Малавскому—4 года каторги—20 годами, а Круковской—поселеніе—13-тѣтней каторгой. Малавскій написалъ по поводу новаго приговора письмо, напечатанное въ № 7 «Народной Воли», что, понятно, вызвало противъ него озлобленіе, и за побѣгъ (изъ Красноярскаго острога) ему не только увеличили срокъ, но и перевели въ Петропавловскую крѣпость.

Отъ Мышкина мы узнали впервые положительно и точно

о постройкѣ новой тюрьмы въ Шлиссельбургской крѣпости, и слухъ о какой-то другой, которую предполагалось устроить или въ Свеаборгѣ, или на Аландскихъ островахъ, или же въ Кексгольмѣ. Всѣ новости, сообщавшіяся Мышкинымъ, были довольно таки нерадостнаго характера; новыя подробности о происшедшемъ на Карѣ, новыя свѣдѣнія о массовыхъ арестахъ въ 83 г. и погромъ офицерской организаціи, о размѣрѣ котораго, впрочемъ, Мышкинъ не имѣлъ точныхъ свѣдѣній. Онъ сообщилъ намъ, что въ крѣпости сидитъ отъ 30—40 офицеровъ и что есть такіе и въ провинціи. Между прочимъ, Мышкинъ меня удивилъ тѣмъ, что далъ мнѣ порученіе къ своей матери. Колодкевичъ передалъ мнѣ его просьбу, «когда меня повезутъ въ Сибирь», написать его матери (помню адресъ и теперь: Евдокии Терентьевнѣ Токаловой, Новгородъ, Забавская (?) ул., д. Смѣльской) все, что знаю о немъ, и просить ее прислать ему латинскую библію и «Книгу природы» Шадлера. Какъ ему въ голову могла притти мысль о возможности увоза въ Сибирь—право и не могу понять!

Въ это же время я узналъ, наконецъ, что придуманный мною способъ переписки, какъ онъ ни былъ неудовлетворителенъ, все-таки можетъ пригодиться, и получилъ отвѣтъ отъ Златопольскаго. Духовныя книги, которыя намъ давали читать, входили въ составъ тюремной библіотеки Петропавловской крѣпости, и я замѣтилъ, что наши предшественники 60-хъ годовъ переписывались, перечеркивая значащія буквы тонкой чертой пера. Нѣкоторыя надписи сохранились, другія были затерты, но жандармы, выскабливая перечеркнутую букву, тѣмъ самымъ давали возможность сложить вычеркнутыя буквы и прочесть написанное даже лучше, чѣмъ это было-бы раньше, ибо глазъ легко можетъ просмотрѣть тоненькую, еле видную черточку, но не цѣлую вытертую букву. Книги эти были, быть можетъ, и не въ одномъ Алексѣевскомъ, а и въ куртинахъ; во всякомъ случаѣ, почти всѣ надписи были сдѣланы слѣдственными.

Вотъ перечень фамилій которыя я помню: Олимпій Бѣлозерскій, Андрущенко, Вѣтошниковъ (онъ былъ, какъ мнѣ помнится по воспоминаніямъ Герцена, арестованъ въ 1862 г. при возвращеніи въ Россію съ транспортомъ «Колокола»), Ишутинъ (каракозовецъ), Шевичъ, Нечаевъ, Н. Ф. Перовскій «съ 11/1 1863 г. № 5»; послѣдняя надпись была сдѣлана въ двухъ мѣстахъ, безъ всякихъ конспирацій, но жандармы какъ-

то ее просмотрѣли,—и другія, которыя я уже забылъ. Въ четьининеяхъ я замѣтилъ на внутреннемъ полѣ одной страницы надпись, нацарапанную чѣмъ-то острымъ—косточкой, должно быть. И такъ, что ее можно было прочесть только при извѣстномъ освѣщеніи и поднявъ книгу какъ разъ до уровня лица. Эта надпись гласила: «Владиміровъ, привезенъ изъ Москвы 10 іюня 1862 г.» Задумался я надъ этимъ краткимъ сообщеніемъ, въ которомъ для меня было такъ много содержанія. Кто онъ?—За что посаженъ?—Чѣмъ кончилъ?—И я сталъ съ волненіемъ думать о всѣхъ тѣхъ, которые передо мной проходили тѣмъ же тернистымъ путемъ. Раскольники, жертвы дворцовыхъ переворотовъ, самозванцы, декабристы, петрашевцы и наши ближайшіе предшественники — революціонеры 60-хъ годовъ, всѣ они вспоминались мнѣ. Полуботокъ и Царевичъ Алексѣй, монахъ Авель и Батенковъ, Бакунинъ и Нечаевъ,—всѣ, всѣ они пили ту же горькую чашу, всѣ они задыхались въ этихъ каменныхъ гробахъ, какъ задыхаемся мы...

Но, однако, я отвлекся отъ того, что хотѣлъ рассказать. Я сталъ выскабливать нужныя буквы и сообщилъ такимъ образомъ все, что зналъ о Михайловѣ, Щедринѣ, о происходившемъ въ нашемъ корридорѣ. Я написалъ, кромѣ того, письмо товарищамъ, гдѣ говорилъ о безнадежности нашего положенія, предлагая всѣмъ одновременно покончить съ собой, условившись относительно времени и способа. Я заканчивалъ выраженіемъ убѣжденія въ томъ, что такая вещь произведетъ на волѣ большую сенсацию: послѣ этого правительство не посмѣетъ больше обращаться съ другими такъ, какъ оно обращалось съ нами. Письмо это было написано очень горячо, страстно: мнѣ такъ хотѣлось выложить передъ товарищами все, что накопилось въ сердцѣ. Потомъ Фроленко мнѣ говорилъ, что у него «морозъ пробѣжалъ по кожѣ», когда ему попалась книга съ этимъ письмомъ. «Мнѣ страшно, просто, стало, когда я себѣ представилъ то состояніе, въ которомъ долженъ находиться человѣкъ, чтобы писать подобныя вещи!»—заключилъ онъ. Одно изъ моихъ писаній попало къ Златопольскому; онъ отвѣтилъ мнѣ и сообщилъ нѣсколько новостей, между прочимъ, объ убійствѣ Судейкина.

Этотъ способъ сношеній былъ, конечно, невѣренъ, медлененъ, и нельзя было знать, къ кому именно попадетъ данная книга, но вскорѣ у насъ завелись болѣе удобныя и быстрыя сношенія. Заботливость начальства, старавшагося сохранить насъ

для Шлессельбурга. дошла до того, что намъ предоставили возможность нѣкотораго физическаго упражненія. Въ садикѣ навалили кучу песку и положили лопату. Эту кучу можно было только пересыпать съ мѣста на мѣсто. Но такое безсмысленное упражненіе не доставляло мнѣ никакого удовольствія. Однажды я попробовалъ начать насыпать пескомъ дорожку вокругъ клумбы. Прядь сейчасъ же подошелъ ко мнѣ и говорить:

«Это зачѣмъ, чтобъ потомъ на песокъ разныя... (тутъ онъ начертилъ въ воздухѣ ключемъ)... здѣсь всякую эту мудрость нужно отбросить въ сторону (sic). Вотъ, съ одного мѣста на другое—можно пересыпать!»

Мнѣ такъ стало противно, что я пересталъ возиться съ пескомъ, и не могъ меня заставить продѣлывать эту бессмыслицу даже докторъ, который сталъ меня страшить бутгорчаткой и попрекать тѣмъ, что онъ для насъ это «выпросилъ», а мы пользоваться не хотимъ.

Это тасканіе воды рѣшетомъ сослужило, однако, свою службу, ибо играло нѣкоторую роль въ установленіи переписки между большимъ корридормъ (№№ 6—12 и №№ 14—19). Нашимъ секретаремъ былъ Мышкинъ, а тамъ—Поповъ. Записки писались на полоскахъ бумаги, вырванныхъ изъ книги, обугленнымъ концомъ спички, и оставались на гуляньѣ условленнымъ образомъ.

Вскорѣ насъ постигло новое, общее несчастье. Въ началѣ іюня сошелъ съ ума бѣдный Арончикъ. Онъ, какъ громомъ, ошеломилъ меня, ничего не подозрѣвавшаго, когда, въ отвѣтъ на мою просьбу передать кое-что Богдановичу, онъ сказалъ Мышкину, что обруженъ самозванцами, а называющій себя Богдановичемъ—это шпионъ, убившій отца и мать, а Мышкина онъ назвалъ просто червоннымъ валетомъ. По старой памяти, онъ еще считалъ за людей меня и Колодкевича, но смотрѣлъ на насъ свысока: мы—такъ себѣ, какая-то мелочь, а онъ—лордъ, и требуетъ поэтому у зрителя свиданія съ англійскимъ посломъ и со своей леди.... Больно за него было, и страшно становилось за Богдановича, оказавшагося теперь совершенно отрѣзаннымъ отъ насъ. Мнѣ было очень досадно, что ему я могъ передать очень мало. Послалъ я ему сказать, что я люблю его и помню, а онъ дня черезъ два (ибо все шло черезъ трехъ человѣкъ) отвѣтилъ въ очень трогательныхъ выраженіяхъ, что онъ обрадованъ моимъ привѣтомъ, обнимаетъ

и просить рассказать о моемъ дѣлѣ и состояніи здоровья. Я тоже спросилъ о его здоровьѣ и еще кое-что ему раза два передавалъ, и затѣмъ всѣ наши сношенія оборвались. Потомъ обнаружилось, что еще вначалѣ Арончикъ былъ не совсѣмъ здоровъ, нервничалъ, капризничалъ, прекратилъ стучать, и Мышкинъ, по временамъ, стѣснялся вызывать его, выжидая, когда Арончикъ самъ позоветъ его.

Такъ нашъ маленькій мірокъ сократился до трехъ чело-вѣкъ, ибо Буцевичъ такъ и не стучалъ все время, но и въ этомъ маленькомъ міркѣ однажды вышла ссора. Изъ переписки выяснилось, что въ томъ корридорѣ публика пришла въ очень нервное состояніе, терпѣніе лопается, и всѣ говорятъ, что такъ жить невозможно. Рѣшили тамъ обсудить съ нами вопросъ, что нужно дѣлать, и сообщили, что у нихъ все болѣе и болѣе склоняются въ голодовкѣ. Морозовъ же противъ этого, онъ говоритъ, что надѣяться чего-либо достичь этимъ путемъ—нельзя. а нужно, если ужъ терпѣть нѣтъ силы, устроить такую исторію, чтобы вызвали караулъ и всѣхъ перестрѣляли. Начать, напримѣръ, съ битья стеколъ, съ выбиванія дверей, и итти дальше до тѣхъ поръ, пока не употребятъ оружія. Я замѣтилъ нѣчто странное: два дня подрядъ Колодкевичъ почти не стучалъ со мной, а съ Мышкинымъ—очень много и, когда я спросилъ его, о чемъ у нихъ идутъ такіе длинные разговоры, онъ отвѣтилъ какъ-то уклончиво и неопредѣленно, такъ что я пожалѣлъ о своемъ любопытствѣ, думая что сдѣлалъ неделикатность, спросивъ о чемъ-то такомъ, что Колодкевичъ не можетъ мнѣ довѣрить. Потомъ, онъ вдругъ цѣлыхъ три дня ни однимъ словомъ не перекинулся съ Мышкинымъ. Когда я попросилъ его передать Мышкину, чтобъ онъ написалъ отъ меня нѣсколько словъ Исаеву, который передъ тѣмъ справлялся о моемъ здоровьѣ, Колодкевичъ отвѣтилъ, что Мышкинъ не стучитъ и, вѣрно, за 10 лѣтъ надоѣлъ ему этотъ стукъ. Потомъ разговоры межъ ними возобновились, и только много времени спустя, узналъ я, что у нихъ вышла ссора и причиной оказался я, или, лучше сказать, отказъ Колодкевича передавать мнѣ такіа вещи, какъ предложенія голодовки и, еще хуже, слова Морозова, котораго я такъ любилъ, который имѣлъ на меня большое вліяніе. Колодкевичъ боялся за меня и, зная мое недавнее настроеніе, думалъ, что подобныя вѣсти взвинтятъ меня и я выкину какого-нибудь «козла». Мышкинъ разсердился, и сказалъ Ко-

Колодкевичу, что онъ не имѣетъ права отказываться отъ передачи и налагать какую-то цензуру на товарищескія сношенія; въ виду же упорства Колодкевича, сказалъ, что, послѣ этого, не хочетъ съ нимъ разговаривать. Конечно, раздраженіе Мышкина улеглось черезъ нѣсколько дней, и онъ, если и не призналъ Колодкевича правымъ, то все же пересталъ сердиться.

Помню, что въ послѣдствіи съ Мышкинымъ мы вели длиннѣйшіе философскіе споры, вызванные моимъ отзывомъ о «Философіи Безсознательнаго» Гартмана: хотя я вовсе не большой любитель философіи, но два—три сочиненія прочелъ со вниманіемъ и интересомъ, а книгу Гартмана читалъ съ такимъ увлеченіемъ, съ такимъ сердечнымъ трепетомъ, какъ едва ли бы сталъ читать самый завлекательный романъ. На меня просто какое-то гипнотизирующее впечатлѣніе произвела «Философія Безсознательнаго». Я читалъ запоемъ, читалъ, забывая о всемъ въ мірѣ и переживая страшное волненіе, испытывалъ жажду глубже и глубже проникнуть эти безотрадные выводы, которые такъ расходились съ тѣмъ, что, какъ мнѣ казалось, уже вылилось съ опредѣленную форму, окончательно было рѣшено для меня. Изящная умственная фехтовка, краснорѣчіе и поэтичность тамъ, гдѣ ея, казалось, и ждать бы нельзя, умѣлое пользованіе новѣйшими выводами естествознанія — все это дѣйствовало на меня обаятельно. Можетъ быть, тутъ играло роль настроеніе даннаго времени. Это была одна изъ послѣднихъ книгъ, прочитанныхъ мною передъ моей «политической смертью». Читалъ и ее, подавленный той непосильною тяжестью горя и муки, которые давили меня въ послѣдніе мѣсяцы жизни на волѣ.

Колодкевичъ относился пренебрежительно къ «Философіи Безсознательнаго», называя ее «пустой и зловредной книженкой». Споры у насъ были весьма отчаянные, до того, что Колодкевичъ иногда просилъ у меня дать ему «передохнуть полчаса», ибо, хотя онъ и ходилъ уже на прогулку, но все еще на костыляхъ, и ноги, временами, побаливали. Мнѣ особенно памятны его слова, сказанныя въ отвѣтъ на мое замѣчаніе, что, какъ бы то ни было, а не-бытіе лучше бытія, потому что каждый, если бы ему предложили на выборъ: родиться на свѣтъ или не родиться,—предпочелъ бы послѣднее. Вотъ эти слова:

«Какъ человѣкъ, которому всего дороже истина, говорю, что предпочелъ бы родиться и познать, что такое бытіе, чѣмъ не родиться и не познать!»

— Даже въ томъ случаѣ, если вы знали бы, что все кончится Алексѣевскимъ равелиномъ?

«Конечно, да!»

Я потомъ часто вспоминалъ этотъ разговоръ и преклонялся передъ этими словами мужественнаго человѣка, сказанными тогда, когда онъ смотрѣлъ уже въ глаза вѣчности; сказанными послѣ страшныхъ погромовъ, въ которыхъ пострадали и онъ, и его лучшіе друзья; послѣ того, какъ жизнь жестоко обманула всѣ надежды; послѣ того, наконецъ, какъ жизнь его проходила среди страшныхъ мученій, лишеній и поруганій въ тюрьмѣ Петропавловской крѣпости..

Нѣсколько разъ потомъ у насъ завязывался разговоръ о нѣкоторыхъ, волновавшихъ меня тогда, вопросахъ философій. Между прочимъ, я очень былъ заинтересованъ вопросомъ о матеріи и силѣ, о существованіи матеріи, и держался того мнѣнія, что мы, познавая міръ, руководимся чувствами и, слѣдовательно, познаемъ его не такимъ, какъ онъ есть, а такимъ, какимъ онъ кажется. Никакія доказательства существованія матеріи внѣ нашего я не могутъ имѣть объективнаго характера, и съ равной возможностью можно рѣшать этотъ вопросъ и въ отрицательномъ и въ положительномъ смыслѣ. Колодзевичу, кажется, не особенно нравилось мое увлеченіе, которое онъ считалъ для меня не совсѣмъ безопаснымъ съ точки зрѣнія душевнаго равновѣсія и здоровья, и порой рекомендовалъ мнѣ больше интересоваться моимъ паукомъ, чѣмъ Гартманомъ.

У меня еще съ конца зимы завелся новый другъ. Это былъ огромный паукъ-крестовикъ, поселившійся подъ крышкой моего стола. Я сталъ за нимъ ухаживать, кормить его, и онъ сталъ совершенно ручнымъ. Онъ бралъ у меня изъ рукъ мухъ, влѣзалъ ко мнѣ на палецъ, когда я подставлялъ его, сидѣлъ на немъ совершенно спокойно и смѣло, пока я его не ссаживалъ обратно на паутину. Онъ позволялъ трогать себя и, порой, я заставлялъ его дѣлать гимнастику, которую я считалъ для него необходимой, въ виду его сидячей жизни и крайней тучности. Онъ такъ растолстѣлъ къ лѣту, что иногда я боялся просто, какъ бы онъ, наконецъ, не лопнулъ. Я дотрагивался пальцемъ до одной изъ его ногъ — онъ ее поднималъ; тогда я дотрагивался до слѣдующей — онъ опускалъ первую и поднималъ вторую. Такъ я перебиралъ всѣ его ноги, и онъ терпѣливо переносилъ это, никогда не проявляя своего неудовольствія. Съ гигиеническими же цѣлями я иногда срывалъ его сѣть и за-

ставлялъ ткать новую, думая этимъ посбавить ему жира. Наблюденія за его работой доставляли мнѣ величайшее удовольствіе. За работу онъ принимался всегда съ наступленіемъ сумерекъ, хотя бы еще она была разрушена утромъ. Начиналъ онъ съ того, что натягивалъ основную нить, очень толстую и крѣпкую, которая шла подъ угломъ отъ его помѣщенія подъ столешницей къ перекладинѣ, связывающей переднія ножки стола. Прогулявшись по ней нѣсколько разъ взадъ и впередъ, утолщая ее прилежно, передъ новой нитью онъ останавливался на минуту, затѣмъ, что-то сообразивъ, натягивалъ радіусами 4—5 новыхъ нитей, уже менѣе толстыхъ, чѣмъ первая. Затѣмъ, онъ начиналъ ткать сѣти, и не шаблонно, однимъ и тѣмъ же установленнымъ образомъ, а каждый разъ было что-нибудь новое въ его работѣ: иногда онъ останавливался, задумывался и вдругъ, точно напавъ на новую мысль, разрушалъ часть своей работы и передѣлывалъ ее. Словомъ, это была артистическая натура. Въ тѣ минуты, когда я видѣлъ, что онъ творить свое созданіе, что это сознательная работа, а не проявленіе слѣпого инстинкта, я чувствовалъ умиленіе при мысли, что въ этомъ крохотномъ насѣкомомъ таится искорка генія, давшего человѣчеству Архимеда и Ньютона...

Лѣтомъ нашъ садикъ имѣлъ очень миленькій видъ: все въ немъ цвѣло и зеленѣло, клумбы покрывались лиліями, листья березокъ такъ пріятно ласкала взглядъ; но и онѣ, бѣдняжки, испытывали на себѣ вліяніе неволи. Роста какъ бы на днѣ колодца,—поверхность сада была ниже пола зданія,—окруженные стѣнами, онѣ жадно тянулись къ теплу и свѣту, а потому были гораздо тоньше, чѣмъ должно было имъ быть; но все же росли онѣ хорошо и сравнялись уже верхушками съ конькомъ крыши тюремнаго зданія. Про липу и говорить нечего; она уже давно переросла крышу, и ея вершина всегда была залита солнечнымъ свѣтомъ. Яблони роскошно цвѣли весной и приносили къ осени много яблокъ, которыя, однако, почти всѣ обрывали жандармы, даже не давая имъ вызрѣть, какъ слѣдуетъ. Въ саду росли еще: старая вѣтвистая бузина, — излюбленное мѣсто воробьиныхъ собраній, точно клубъ какой-то, гдѣ всегда раздавалось задорное чиликанье, такъ пріятно нарушавшее тюремную тишину. Кусты по краямъ дорожки краснѣли отъ ягодъ; одна только елочка, посаженная, видимо, недавно кѣмъ-нибудь изъ нашихъ ближайшихъ предшественниковъ—Шпреевымъ или

Нечаевымъ,—хирѣла, словно тоскуя о родномъ просторѣ моховыхъ болотъ.

Порой такъ пріятно было сидѣть на скамеечкѣ подъ липой, въ тѣни которой сидѣло нѣсколько поколѣній русскихъ радикаловъ, любоваться зеленью, цвѣтами, слѣдить за тѣмъ, какъ въ лазурномъ небѣ пробѣгаютъ бѣлыя облачка и парятъ съ рѣзкимъ крикомъ чайки—наши волжскія «мартышки»—сверкая на солнцѣ бѣлымъ брюшкомъ, такъ напоминавшія мнѣ много, много счастливыхъ минутъ, пережитыхъ мной еще въ недалекомъ прошломъ, но которое казалось теперь такимъ далекимъ. Тюремная стѣна такъ круто и рѣзко отрѣзала меня отъ него, что теперешняя моя жизнь казалась не продолженіемъ этого прошлаго, а какимъ-то новымъ, вторымъ, существованіемъ, нисколько не похожимъ на бывшее. Я жадно прислушивался ко всѣмъ, долетавшимъ до меня звукамъ; и пароходные свистки и доносившаяся по временамъ музыка изъ Лѣтняго сада, и ревъ слона въ зоологическомъ саду, что былъ на Петербургской сторонѣ, — всѣ, всѣ звуки — (особенно отчетливые по вечерамъ: теперь насъ было такъ много, что прогулка тянулась весь день съ утра до сумерекъ) — напоминали мнѣ о жизни, которая «играетъ у гробового входа», жизни, ставшей теперь такой чуждой, такой далекой, далекой!

Мало-по-малу сталъ я приходить въ себя, примиряться со своимъ положеніемъ: нужно же было считаться съ тѣмъ фактомъ, что жизнь кончилась, началось «житіе»... Но какъ-то сама судьба не давала мнѣ успокоиться, и 24 іюля я получилъ новый ударъ, совершенно меня ошеломившій, выбившій изъ колеи. Тяжело и теперь вспоминать!

21 іюля я поздравлялъ Колодкевича съ днемъ рожденія (у насъ завелось обыкновеніе, сохранившееся и впослѣдствіи, приносить поздравленія со днемъ ангела и рожденія) и пожелалъ ему много, много хорошаго, между прочимъ, чтобъ на слѣдующій годъ мы могли праздновать этотъ день на волѣ. «(Если-бъ вы были пророкомъ!» — отвѣтилъ онъ и, сердечно поблагодаривъ меня, сказалъ, что ему очень бы хотѣлось, выйдя на волю, прокатиться со мной по всей Волгѣ вплоть до Астрахани, потому что онъ никогда не видалъ Волги. Очень мило и задушевно поболтали мы съ нимъ, но на слѣдующій день я замѣтилъ по стуку его костылей, что онъ ходитъ и мало и плохо, а вечеромъ онъ меня огорчилъ тѣмъ, что, по его вы-

раженію, снова у него ноги начали «дурить»; на слѣдующій день онъ уже не могъ вставать съ постели, и въ теченіе дня докторъ приходилъ къ нему два раза. Утромъ, на третій день, Колодкевичъ умеръ тихо, безъ всякихъ стонѣвъ, словно заснулъ и—не проснулся.

Всѣ эти дни я съ напряженнымъ вниманіемъ прислушивался ко всему, что дѣлалось въ камерѣ, и каждое утро я обязательно прикладывалъ ухо къ стѣнѣ, улавливая каждый стукъ, каждый шорохъ. Въ это утро къ нему вошли — и наступила тишина. Изъ камеры ничего не выносили, на столъ ничего не ставили. Послышались только шаги одного человѣка,—Соколова,—подошедшаго къ кровати и молча отошедшаго. Я просто затрясся отъ волненія, которое еще болѣе усилилось, когда вошли ко мнѣ, и я увидѣлъ въ лицѣ Соколова какое-то смущеніе, какой-то проблескъ человѣческаго чувства; онъ смотрѣлъ растерянно и избѣгалъ встрѣчаться со мной глазами. Я сталъ наблюдать за корридоромъ, постоянно также подходя къ стѣнѣ; минутъ черезъ 20 я услышалъ знакомую походку доктора, который вмѣстѣ съ Соколовымъ вошелъ въ № 16. Пробыли они тамъ недолго и молча ушли.

Словомъ, повторилось то, что было при смерти Баранникова: точно также привели солдатъ, которые унесли тѣло, затѣмъ камеру убрали, вынесли изъ нея все, судя по стукамъ, кромѣ мебели. За обѣдомъ туда унтера не заходили.

Странно, что несмотря на всю несомнѣнность ужаснаго факта, я питалъ какую-то безумную надежду, что я ошибся, что все это мнѣ послышалось. Я нѣсколько разъ въ теченіе дня подходилъ къ стѣнѣ и выстукивалъ все громче и громче: «Николай, Николай!»—Не получая отвѣта, я начиналъ его умолять, чтобы онъ, если не можетъ подойти къ стѣнѣ, сдѣлалъ бы какой-нибудь знакъ: ударилъ бы кружкой по столу, стукнулъ бы въ полъ костылемъ и, прождавши нѣкоторое время отвѣта, я бросался на кровать и, чтобы жандармы не услышали моихъ рыданій, утыкался головой въ подушку и плакалъ, какъ ребенокъ.

Всѣ слѣдующіе дни, вплоть до Шлиссельбурга, я ходилъ какъ очумѣлый; я не могъ ни читать, ни думать о чемъ либо: меня преслѣдовала подавляющая мысль, что никогда, никогда мы не увидимся, что я понесъ невозвратную утрату. Совсѣмъ выбитый изъ колеи, я спалъ, пилъ, ѣлъ, ходилъ въ ка-

комъ-то полуснѣ. Я не могъ даже приняться за чтеніе (мысленно, конечно, либо вполголоса: иначе Иродъ пришелъ бы и сказалъ: «нельзя ли потише!») моихъ любимыхъ поэтовъ. Память у меня была тогда молодая, хорошая, я зналъ наизусть множество стихотвореній и восстанавливалъ въ памяти произведенія наиболѣе любимыхъ поэтовъ. Изъ русскихъ — Лермонтова, Некрасова, Шевченко, изъ французскихъ — Гюго, Беранже, Бюссе, М-ше Аккерманъ, Барбье. Изъ англійскихъ поэтовъ я читалъ на волѣ одного только Байрона, да и помнилъ изъ него только три-четыре стихотворенія или отрывки. — Теперь и это не помогало. Трудно было какъ-то сосредоточиться, и черезъ два-три куплета я останавливался и начиналъ тупо смотрѣть на стѣну, за которой находился теперь пустой и мертвенный № 16. — словно эта стѣна меня гипнотизировала.

Теперь изъ насъ трое — Богдановичъ, Мышкинъ и я, — были изолированы другъ отъ друга, и до конца не обмолвились ни однимъ словомъ. Мнѣ какъ-то ни разу не пришло въ голову мысли написать Мышкину; да теперь и трудно уже было условиться относительно мѣста. Прятать тамъ же, гдѣ прятались записки изъ другого корридора, стало неудобно.

Въ концѣ концовъ я оправился бы, конечно, и все бы устроилось, — но поправляться-то уже не было времени.

XI.

2-го августа 1884 г. я спалъ послѣ обѣда, но былъ разбуженъ какимъ-то грохотомъ и стукомъ молотка. Я протеръ глаза и подумалъ: «это чертъ знаетъ что такое! — Только еще августъ, а ужъ Иродъ торопится зимнія рамы вставлять». Одна за другой отворялись двери камеръ, затѣмъ тамъ раздавался какой-то стукъ молотомъ по желѣзу — это уже ясно было слышно. Потомъ дверь затворяли и шли въ слѣдующую камеру. Уже добрались до половины того корридора, когда вдругъ услышалъ я какой-то лязгъ, словно мѣшокъ съ гвоздями или инструментами, что ли, высыпали на полъ. Нѣтъ, тутъ не въ рамкахъ дѣло. Что же это такое? — Вотъ, дошли ужъ до Попова (№ 12)... Да, вѣдь, это заковываютъ! — подумалъ я и, какъ только зашли къ моему сосѣду, Буцевичу, я приложилъ ухо къ стѣнѣ, а потомъ пошелъ слушать у двери. Сомнѣній теперь не могло быть. Я отчетливо слышалъ, какъ изъ корридора принесли что-то

тяжелое — наковальню и бухнули на полъ. Потомъ зазвенѣли кандалы, потомъ удары молотка по заклепкѣ, пауза и лязгъ цѣпи, снова удары—и готово!—Наковальню вытащили въ корридоръ, и я ждалъ, что сейчасъ зайдутъ ко мнѣ. Однако, Соколовъ ушелъ и пришелъ только, какъ обыкновенно, съ ужиномъ. Я ничего его не спросилъ, а онъ ничего не сказалъ. Часу въ десятомъ онъ заходилъ ко всѣмъ закованнымъ, но не надолго, и все было тихо. Я порядочно взволновался, да и Мышкинъ тоже, судя по его гулкамъ и быстрымъ шагамъ, которыми онъ ходилъ до глубокой ночи. Закованный Буцевичъ ходилъ немного, очевидно его стѣсняла цѣпь, волочившаяся по полу.

Я заснулъ очень поздно и скоро былъ разбуженъ движеніемъ въ корридорѣ, хлопаньемъ дверей, лязгомъ кандаловъ. (Одного за другимъ выводили товарищей и среди ночной тишины звучно раздавался извѣстный всѣмъ сидѣвшимъ въ острогѣ кандалный звонъ. Онъ стихалъ,—значить, вывели въ подворотню. Минуть черезъ 15 приходили снова, опять гремѣлъ засовъ двери, опять звонъ, опять на время наступаетъ тишина. Дошла, кажется, очередь до Буцевича, и все окончательно стихло.

На другой день послѣ обѣда, часа въ два, Соколовъ пришелъ ко мнѣ и сказалъ самымъ невозмутимымъ тономъ:

«Надо заковаться!»

Унтера внесли въ камеру наковальню; потомъ одинъ изъ нихъ принесъ еще изъ корридора пару кандаловъ, лежавшихъ кучей на полу противъ моей двери, а вошедшій, вслѣдъ за жандармами, старичекъ въ полу-военномъ одѣяніи, съ очень вѣжливыми манерами (вѣзнецъ, на обязанности котораго лежала заковка политическихъ), обратился ко мнѣ:

«Присядьте, пожалуйста, вотъ здѣсь», и онъ указалъ мнѣ мѣсто близъ наковальни. «Ну, а теперь, будьте добры протянуть ногу. Вы послабже держите, совсѣмъ свободно, не беспокойтесь!»

Съ этими словами онъ взялъ поданные ему унтеромъ кандалы, надѣлъ кольцо на ногу и вынулъ заклепку. Попросивъ еще разъ держать ногу свободнѣе, онъ вставилъ заклепку и двумя-тремя артистическими ударами заклепалъ ее.

«Ну, а теперь лѣвую позвольте!»

Въ одну минуту все было кончено. дверь заперли и пошли къ Мышкину.

Странная смѣсь чувствъ охватила меня: тутъ была и злоба и чувство оскорбленнаго человѣческаго достоинства, и, какъ это ни покажется мало вѣроятнымъ, чувство радости, что я удостоился чести носить кандалы, подвергнуться поруганію за дорогую мнѣ идею. Последнее чувство было сильнѣе всѣхъ прочихъ, и я,—теперь смѣшно и вспомнить,—нагнулся и, не безъ умиленія, поцѣловалъ цѣпь кандаловъ, явившихся для меня символомъ всего, что суждено было вытерпѣть. Я вспомнилъ людей, на которыхъ готовъ былъ молиться, память которыхъ благоговѣйно чтить, и потому ощутилъ просто гордость, что и меня сравнили съ ними. Носили кандалы только четыре чловека, а потому—дѣло было конченное...

Когда прошелъ первый пылъ энтузіазма, то къ поэзіи цѣпей, носимыхъ за свободу, присоединились прозаическія неудобства. Во-первыхъ, на мнѣ не было подкандальниковъ. смягчующихъ треніе кандаловъ, слишкомъ широкихъ и не лежащихъ плотно на ногѣ и бьющихъ при ходьбѣ о щиколотку. Во-вторыхъ, мнѣ не дали ремня, которымъ подтягиваютъ вверхъ цѣпь отъ кандаловъ, а потому ходить приходилось или волоча эту цѣпь по полу, или же продѣвъ въ среднее звено цѣпи полотенце, при чемъ приходилось ходить сгорбившись и держа въ рукѣ это полотенце, такъ какъ оно было коротковато.

Большое неудобство представляли кандалы, когда я легъ спать. Непріятно было прикосновеніе холоднаго желѣза, а еще непереносимѣе было, когда я раза два-три ушибалъ ноги, неловко и неосторожно повертываясь. Спѣшу прибавить, что я въ кандалахъ спалъ только двѣ ночи: одну здѣсь, а другую въ Шлиссельбургѣ; на утро же насъ всѣхъ расковали.

За ужиномъ пришелъ не Соколовъ, а какой-то другой, незнакомый мнѣ, офицеръ, заступившій мѣсто смотрителя. Иродъ же, сдавшій уже должность (онъ былъ назначенъ смотрителемъ Шлиссельбурга), занялся, вѣроятно, сборами въ дорогу. Послѣ ужина я все время находился въ ожиданіи новаго посѣщенія. Я помнилъ, что прошлою ночью Соколовъ зачѣмъ-то обходилъ всѣхъ увозимыхъ товарищей. Часовъ въ 9 зашли ко мнѣ Соколовъ и незнакомый офицеръ. Одинъ изъ унтеровъ держалъ въ рукѣ ремень съ мѣднымъ кольцомъ на одномъ изъ концовъ. нѣчто въ родѣ чрезсѣдельника. Жандармъ пропустилъ ремень сквозь среднее звено цѣпи, подтянулъ ее и опоясалъ меня этимъ ремнемъ, и я сейчасъ же почувствовалъ облегченіе, такъ какъ

хорошо подтянутые кандалы не мѣшали ходить. Въ первомъ часу, должно быть, меня разбудили.

«Встань и одѣнься» — сказалъ начальственнымъ тономъ незнакомый офицеръ. Соколовъ стоялъ поодаль у двери и молчалъ. Когда я натянулъ на себя халатъ, унтера подошли ко мнѣ и надѣли наручни. На видъ эти наручни были красивенькія штучки, совсѣмъ новенькія. Наручни—это два плоскія кольца, обтянутыя внутри кожей и соединенныя цѣпью. Каждое изъ этихъ колецъ состояло изъ двухъ половинокъ, двигающихся на шарнирѣ, какъ у браслета; на концахъ этихъ половинокъ находились приваренныя подъ прямымъ угломъ пластинки съ прорѣзомъ посрединѣ; въ этотъ прорѣзъ вставлялся штифтъ, къ которому была прикрѣплена короткая цѣпочка. Въ послѣднее звено обѣихъ цѣпочекъ вставлялась дужка замка, запиравшагося на ключъ. Кромѣ того, оба браслета соединялись еще другой цѣльной цѣпочкой, наглухо прикрѣпленной концами. Длина этихъ цѣпочекъ была 6-8 вершковъ, поэтому наручни крайне стѣсняли движенія рукъ, такъ какъ приходилось двигать обѣими руками вмѣстѣ.

Прошло еще нѣкоторое время, отворилась дверь и Соколовъ махнулъ мнѣ рукой. Мнѣ грустно стало разставаться съ Алексѣевскимъ равелиномъ, съ которымъ я уже сжился, и мѣнять его на что-то неизвѣстное. Съ этимъ равелиномъ было связано столько историческихъ воспоминаній, столько воспоминаній о недавно погибшихъ товарищахъ, что я вдругъ почувствовалъ, что здѣсь мнѣ все близкое, родное... Сами страданія, которыя я вынесъ здѣсь, какъ-то связывали меня со всѣмъ окружающимъ. Ужъ если умирать, такъ умирать тутъ, а не въ какой-то новой тюрьмѣ, съ новыми порядками, съ новыми людьми, гдѣ надо снова ко всему привыкать, со всѣмъ знакомиться. Я прощался мысленно со всѣмъ, что здѣсь оставлялъ, въ томъ числѣ даже съ моимъ наукомъ. Обидно было думать, что, можетъ быть, завтра же кто-нибудь станетъ обметать паутину и прихлопнетъ бѣдную животинку.

Молча шелъ я, бряцая кандалами, по пустынному, еле, еле освѣщенному одной только лампочкой корридору, окруженный унтерами; Соколовъ шелъ сзади. Какъ только мы вышли въ подворотню, унтера схватили меня за руки и потащили такъ, какъ это было въ ночь моего прибытія сюда. За воротами стояла карета съ распахнутой дверцей, отъ которой вплоть до

воротъ рavelина стояли плечемъ къ плечу шеренги жандармовъ. Предосторожность—совершенно излишняя, конечно, — противъ попытки бѣжать или утопиться въ каналъ. Въ каретѣ сидѣло двое жандармскихъ унтеръ-офицеровъ, которымъ меня и передали изъ рукъ въ руки. Я сѣлъ, но жандармы продолжали держать меня за руки, пока Соколовъ, усѣвшійся рядомъ со мной, не велѣлъ «пустить».

Карета покатилась по мостику, и я улыбнулся, вспомнивъ, что я подумалъ въ ту памятную ночь, когда меня переводили изъ Трубецкого въ Алексѣевскій. Мы въѣхали подъ ворота крѣпости, и я увидѣлъ съ правой стороны крылечко того помѣщенія, которое служило пріемной Ироду и окна котораго были видны мнѣ черезъ вентиляторъ, когда я сидѣлъ въ № 3. Проѣхавъ толщу крѣпостной стѣны, карета повернула не направо, къ тѣмъ воротамъ, черезъ которыя ведется сообщеніе съ Трубецкимъ, а налево, по совершенно мнѣ незнакомой мѣстности, гдѣ попадались и зданія и пустыри какіе-то, и, объѣхавъ, такимъ образомъ, Монетный Дверъ, мы выѣхали на плацъ, миновали соборъ и направились къ Невскимъ воротамъ. Не доѣзжая до нихъ, карета остановилась, меня высадили, и два унтера, ожидавшіе тутъ съ Домашневымъ, схватили меня за руки и повели къ воротамъ, гдѣ стоялъ Ганецкій, прислонившись спиной къ стѣнѣ, и почему-то самодовольно улыбался.

Когда мы вышли уже изъ воротъ, случилась комичная вещь. Домашневъ, шедшій впереди, обернулся къ жандармамъ и сказалъ: «подними кандалы!» Они у меня, дѣйствительно, оттянули ремень и спустились очень низко, затрудняя этимъ ходьбу. Жандармы, не понявъ его приказанія, подняли кверху мои закованныя руки и, такимъ образомъ, я, какъ-бы вопія къ небу противъ творившагося надо мной насилія, прошелъ все разстояніе до пристани, и видѣлъ стоявшихъ на мосткахъ какихъ-то чиновъ, межъ которыми мнѣ бросился въ глаза чловѣкъ во флотскомъ мундирѣ; это былъ, какъ оказалось, капитанъ парохода рѣчной полиціи.

Ночь была темная, освѣщенія никакого, и, когда я подошелъ къ какимъ-то подмосткамъ, поднимавшимся вверхъ на самомъ берегу, то за ними ничего не было видно, и я удивился, куда-же собственно меня везутъ? Когда мы поднялись на этотъ эшафотъ, то оказалось, что съ его площадки идетъ спускъ въ воду, а внизу перекинуты сходни на палубу какой-

то баржи, впереди которой, вверхъ по теченію, виднѣлись смутныя очертанія парохода. На палубѣ баржи былъ люкъ, гдѣ мои конвоиры сдали меня съ рукъ на руки двумъ жандармамъ, которые, можно сказать, снесли меня внизъ по крутой и узкой лѣстницѣ, и я очутился во внутренности баржи, специально выстроенной для нашего препровожденія въ Шлиссельбургъ.

Вдоль этой баржи шелъ деревянный заборъ, нѣсколько не доходящій до кормы и носа, высотой въ человѣческій ростъ. Онъ раздѣлялъ баржу, такъ сказать, на два коридора, употребляя тюремный терминъ. По обоимъ бортамъ баржи былъ расположенъ рядъ чулановъ, отдѣлявшихся другъ отъ друга пустымъ пространствомъ, равнымъ ширинѣ чулана. Эти чуланы были расположены въ шахматномъ порядкѣ, т. е. чулану на одной сторонѣ соответствовало пустое пространство на другой. Словомъ, были приняты всѣ мѣры, чтобъ насъ вполне изолировать другъ отъ друга, чтобъ мы не могли даже увидѣть, кого именно ведутъ. Меня втокнули въ первый же чуланъ у лѣваго борта. Внутри, вдоль борта, шла скамейка, а рядомъ съ дверью было прорѣзано четырехугольное отверстіе безъ стекла. Сію же минуту противъ него сталъ жандармъ, которыхъ на баржѣ была цѣлая куча, и уставился на меня глазами, плотно прикрывая собой оконце, когда мимо проводили кого-нибудь изъ товарищей.

Я сѣлъ на лавку и осмотрѣлся. Кругомъ были голыя стѣны, наскоро сбитыя изъ совершенно новаго теса (барачныя доски казались начальству не гарантирующими изоляцію, благодаря дырамъ отъ гвоздей и нагелей). Въ стѣнѣ было сдѣлано для вентиляціи квадратное отверстіе, надъ которымъ была квадратная-же въ разрѣзѣ досчатая труба. Въ эту трубу былъ виденъ кусочекъ неба, и я рѣшилъ наблюдать, когда насъ повезутъ подъ мостами, и замѣтить, повезутъ-ли насъ вверхъ по теченію, или внизъ. Въ первомъ случаѣ—насъ везутъ въ Шлиссельбургъ, а если внизъ—значить въ Кронштадтъ для препровожденія въ ту проектируемую тюрьму, о которой шли слухи. Или въ одну изъ финляндскихъ крѣпостей.

Меня привели первымъ, а я девять разъ слышалъ кандалный похоронный звонъ. Да, это и дѣйствительно были похороны многихъ, многихъ молодыхъ жизней... Походка Арончика, волочившаго ноги, Мышкина и Богдановича были мнѣ хорошо знакомы, и я узнавала ихъ шаги, даже когда на но-

гахъ были кандалы. Процедура усадки занимала довольно много времени. Всѣхъ насъ было 10 человѣкъ (4 изъ Алексѣевского и 6 изъ Трубецкого; въ первой партіи было 12 чел., всѣ изъ Алексѣевского). Наконецъ, передъ свѣтомъ наступила тишина, нарушавшаяся только звяканьемъ жандармскихъ шпоръ да лязгомъ кандаловъ, дававшимъ знать о возбужденномъ состояніи человѣка, который, съ цѣпами на рукахъ и ногахъ, мечется, не находя себѣ мѣста въ своемъ тѣсномъ чуланѣ.

Мнѣ очень тяжела была неизвѣстность и хотѣлось поскорѣе знать, куда же насъ везутъ. Звѣзды погасли на небѣ, утренняя заря разогнала сумракъ, взошло солнце, а мы все стояли. На рѣкѣ уже закипала жизнь, слышались пароходные свистки, затѣмъ фабричные свистки, а мы все еще стояли. Наконецъ, часовъ въ 8 мы тронулись. Глядя въ отверстіе трубы, я убѣдился, когда мы проѣзжали подъ первымъ мостомъ (Алекс. II), что мы идемъ противъ теченія, въ Шлюшинъ... Нашъ малосильный пароходикъ еле, еле тянулъ баржу, и тащились мы черепашинымъ шагомъ. Каждый часъ передъ моимъ окномъ смѣнялись часовые. Одинъ особенно врѣзался мнѣ въ моей памяти, благодаря телячьему выраженію его фizioноміи. Вдобавокъ онъ, тараша на меня свои буркалы, все время жевалъ соломенку. Телокъ, да и только. Захотѣлось мнѣ пить, я и говорю этому самому теленку, что мнѣ нужно воды. Тотъ отшатнулся съ испугомъ отъ оконца и, простоявъ въ недоумѣніи съ минуту, кивнулъ кому-то. Ко мнѣ подошелъ старшій изъ конвой: «вамъ воды испить?»—Да—отвѣтилъ я. «Сейчасъ принесу!» Но, когда онъ подошелъ было ко мнѣ съ кружкой воды, то его остановилъ одинъ изъ унтеровъ, что былъ въ Алексѣевскомъ (весь комплектъ унтеровъ ѣхалъ съ нами и вошелъ въ число шлиссельбургскихъ тюремщиковъ или «унтеръ-офицеровъ» жандармскаго управленія Шлиссельбургской крѣпости», по официальной терминологіи. По штату ихъ полагается 27 человѣкъ). Черезъ нѣкоторое время пришелъ Иродъ. «Что, воды?»—Да.—«Сейчасъ подамъ!» И, дѣйствительно, самъ подаетъ кружку, которую поднесъ ему унтеръ.—Время было, должно быть, близко къ обѣду, такъ какъ ѣсть мнѣ сильно хотѣлось.

«А что, на этомъ фрегатѣ какая-нибудь ѣда полагается?» спросилъ я.

«Все, все подамъ, сейчасъ подамъ. и поѣсть, и воды, если желательно!»

Дѣйствительно, скоро онъ далъ кусокъ чернаго хлѣба и ломтикъ варенаго мяса.

Часовъ около 2-хъ движеніе вдругъ прекратилось.

На палубѣ слышался топотъ, раздавались какія-то приказанія, но еще съ баржи насъ не выводили. Черезъ часть, приблизительно, дверь моего чулана отворилась, и стоявшій у лѣсенки Яковлевъ сказалъ мнѣ: «Ну, выходи!»—Мы пріѣхали въ Шлиссельбургскую крѣпость.

Я кончилъ свой рассказъ о пережитомъ за это первое и самое тяжелое время заключенія. Конечно, я не претендую ни на литературное, ни на историческое значеніе моего повѣствованія, имѣющаго черезчуръ узкій, личный характеръ, интереснаго только для тѣхъ, кто зналъ и любилъ меня. Въ тюрьмѣ мнѣ часто приходило страстное желаніе,—тамъ, конечно, неосуществимое,—разсказать о пережитомъ любимымъ старымъ товарищамъ. Мнѣ была-бы отрадна мысль, что набросанныя мною строки пробѣжитъ любящій глазъ, и читающій вспомнитъ о томъ, съ кѣмъ такъ тѣсно былъ связанъ въ далекіе, молодые годы, годы надеждъ и упорной борьбы. Я смѣю думать, что мои записки имѣютъ нѣкоторое значеніе, хотя-бы какъ «человѣческій документъ» или какъ показанія свидѣтеля. Полной картины пережитаго всей тюрьмой—здѣсь нѣтъ. Я рѣшилъ писать о томъ, что пережилъ и перечувствовалъ самъ, стараясь не вводить разныхъ слуховъ, которые, вслѣдствіе передачи черезъ нѣсколько человѣкъ, да еще посредствомъ стука, не оправдывались. Нѣкоторые слухи, за смертью передававшихъ ихъ, провѣрить окончательно нельзя.

Разскажу только въ заключеніе одинъ очень интересный эпизодъ изъ тюремной жизни того времени. Осужденныхъ по процессу 20 народовольцевъ перевезли изъ Трубецкого въ ночь съ 30 на 31 марта 82 г. (Была, кажется, пятница или суббота страстной недѣли). Имъ подали тонкое бѣлье, мягкіе козловые башмаки и приличный халатъ; Фроленко говорилъ мнѣ потомъ, что это,—въ связи съ общимъ видомъ камеры, съ ея деревяннымъ вымытымъ поломъ, съ ея большимъ и низкимъ окномъ, что дѣлало ее гораздо болѣе похожей на человѣческое жильѣ, чѣмъ камеры Трубецкого бастіона,—произвело на него хорошее впечатлѣніе. На другой день жандармы принесли мыло,

полотенце и подавали умываться. Затѣмъ, на столъ постелили салфетку, положили серебряную ложку, поставили чай, сахаръ и булку. За обѣдомъ дали три блюда скоромныхъ, несмотря на страстную субботу (щи, бифштексъ и пирожное), и тутъ съ однимъ изъ товарищей вышелъ курьезъ: Тригони, сообразивъ, что завтра Пасха, а, слѣдовательно, дадутъ съ утра много всякой снѣди, сказалъ смотрителю, чтобъ ему завтра за обѣдомъ дали только супъ и пирожное, а жаркое разогрѣли бы къ ужину.

«Слышишь»? обратился Иродъ къ одному изъ унтеровъ: «завтра № 9-му жаркого на обѣдъ не давать, а подать къ ужину!»

«Слушаю-съ», отвѣтилъ унтеръ, приложивъ руку къ козырьку.

На другое утро умываться уже не подавали, а поставили описанный мною рукомойникъ. Чаю не дали, но зато положили порцію чернаго хлѣба и пасхальное угощеніе: два яйца и ломтикъ сдобной булки, на которой была положена ложка творогу съ сахаромъ,—вотъ и все. «Надо раздѣться», говорилъ каждому Иродъ. Вчерашнюю приличную одежду уносили и давали ворохъ арестантскаго тряпья. За обѣдомъ дали щи и кашу, и все пошло описаннымъ мною порядкомъ.

Понятно, что озлобленныя власти измѣнили режимъ Алексѣевского равелина, но совершенно непонятно то издѣвательство, которое они продѣлали, измѣнивъ старый порядокъ на одинъ день, чтобы дать рельефнѣе почувствовать разницу между тѣмъ, что было и тѣмъ, что будетъ отнынѣ; всего непонятнѣе, что для подобнаго надругательства былъ выбранъ иродами такой. казалось бы, священный и торжественный для нихъ день, какъ православная Пасха, день, когда, по старинному обычаю Московской Руси, выпускали колодниковъ и разносили по тюрьмамъ царскую милостыню. Право, какъ-то странно это сопоставить съ претензіями правительства Александра III на возвращеніе къ «истинно русскому духу». Такое поруганіе величайшаго народнаго и православнаго праздника было-бы естественно со стороны дикихъ, но не православныхъ русскихъ людей.

Вотъ, дорогіе друзья, все, что пока могу сказать вамъ въ отвѣтъ на ваши частые вопросы о моемъ тюремномъ прош-

ломъ. Надо признаться, что въ перенесеніи страданій я не обнаружилъ не только героизма, но и обычной твердости. Что дѣлать?—Такой ужъ я человѣкъ, нервный, болѣзненно впечатлительный, реагиравшій на всякія раздраженія гораздо интенсивнѣе, чѣмъ обычные, здоровые люди. Да и у самыхъ мужественныхъ, твердыхъ людей бываютъ въ тюрьмѣ тяжелыя минуты, когда утрачивается контроль надъ чувствами.

По этому поводу вспоминаю стихотвореніе одного изъ тюремныхъ поэтовъ моего времени:

О, братство святое, святая свобода!

Въ вину не поставьте мнѣ жалобъ моихъ:

Я слабъ, человѣкъ я, и въ мигъ, какъ невзгода

Сжимаетъ въ желѣзныхъ объятыхъ своихъ,

Проклятій и стоновъ не въ силахъ сдержать я:

Ужасны тоски и неволи объятія!

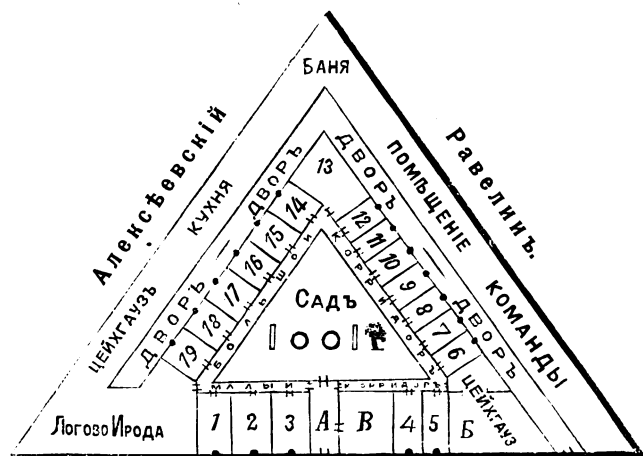
Пусть-же найдется въ этихъ строкахъ смягчающее мою вину обстоятельство въ глазахъ тѣхъ, кто испыталъ на себѣ ужасъ «объятій тоски и неволи».

П. Поливановъ.

28 февраля 1903 г.



Петропавловская крѣпость.



Внутри трехугольный садъ, || скамейки, ○ клумбы, 🌳 липа. Логово Ирода,—квартира смотрителя Соколова.

№№ 1—12, и 14—19, — камеры.

№ 13,—поддежурная комната, гдѣ приготовлялись ванны для сидѣвшихъ въ большомъ корридорѣ.

Б.—цейхгаузъ, гдѣ приготовл. ванны для сидѣвшихъ въ № 4 и 5.

А.—подворотня; В.—караульная комната; || — двери; ● — окна.

ИЗДАНИЯ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА

„Въ знаніи и борьбѣ — сила и право“.



- Бахъ, А. Экономическіе очерки. ц. 15 к.
- Вандервельдъ, Э. Идеализмъ въ марксизмѣ. Перев. съ франц.
подъ ред. и съ предисловіемъ Ю. Гарденина. ц. 7 к.
- Поливановъ, П. Алексѣевскій равелинъ. Отрывокъ изъ воспоминаній.
Съ портретомъ автора. ц. 20 к.
- Р. Р. Соціализація земли. ц. 5 к.
- Шэфле, А. Сущность социализма. Съ примѣчаніями П. Лаврова.
ц. 20 к.



Цѣна 20 коп.

14 DAY USE
RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED
LOAN DEPT.

RENEWALS ONLY—TEL. NO. 642-3405

This book is due on the last date stamped below, or
on the date to which renewed.
Renewed books are subject to immediate recall.

MAR 24 1969 1 3

RECEIVED

MAR 21 '69 11 PM

LOAN DEPT.

MAR 21 2007

LD 21A-40m-2, '69
(J6057#10)476—A-32

General Library
University of California
Berkeley

M304571

YC172215

M304571

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

